

Кира Грозная

Дети огня

Повесть

За мутными окнами сумрак не тает.
Мой северный деспот, да знаешь ли ты,
Что там, вдалеке, на границе с Китаем,
Заснеженных гор протянулись хребты?

К. Г.

*Моему отцу посвящаю эту повесть, начатую
в двадцатую годовщину его трагической гибели*

1. Шалаш

Мне снился пожар. Я тушила его. Забивала пламя палкой, поливала водой. И вдруг заметила, что моя шея схвачена огненным галстуком!.. И вот уже я вся в огне. Кричу, зову Витьку с Лариской. Но криков не слышно. Я не издаю ни звука. Не могу даже сделать вдох: рот забит чем-то плотным и вязким...

...Я приоткрыла глаз, потерла отлежанную на подушке щеку. Нет никакого кошмара. Все то же, что и обычно: маленькая комната с оштукатуренными, местами облупившимися стенами, кровать с железной спинкой, самодельный письменный стол — доска, положенная на две тумбочки. На полу дорожка от раннего солнца, пробившегося в щель между занавесками.

Из-за стенки доносилось постукивание: уборщица (по-нашему техничка) тетя Маша мыла лестницу. Потом она ушла, и все затихло.

Мама и Виталик еще спят, что хорошо. Можно выйти на цыпочках в коридор, выскользнуть из квартиры, спуститься во двор и посидеть перед завтраком в шалаше, который мы с Витькой вчера строили до самого отбоя.

Тетя Маша называла нашу постройку «балаганом». Периодически она ее уничтожала. Чаще всего это происходило, когда на завод приезжала комиссия, которую заселяли в наше общежитие.

Кира Грозная — поэт, прозаик. По специальности — психолог, кандидат психологических наук. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прозу печатали журналы «Звезда», «Урал», «Аврора», «Новая Юность». Автор четырех книг. Лауреат литературной премии им. Н.В. Гоголя в номинации «Шинель» (2018). Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Я быстро оделась и выбралась в прихожую. Фанерная дверь поддалась почти без звука.

Бум-бум-бум по старым деревянным ступенькам. У нас весь дом деревянный. Зимой жить в нем холодно, как ни конопать щели и ни утепляйся. Но сейчас уже апрель! Я вышла во двор. Посредине голая клумба, которая летом покрывается пышными пионами, вокруг — разросшиеся кусты, справа — земляной холм с канализационным люком, похожий на ДОТ. И все, что заменяет нам детскую площадку: куча беспорядочно сваленных бетонных плит, канавы с деревянными мостками, проложенными поперек, и трубами, протянутыми вдоль по дну.

Напротив нашего общежития стоит Дворец культуры, двухэтажное кирпичное здание, свежесведеленное, с колоннами. Между общежитием и Дворцом спортивная площадка с волейбольной сеткой и судейской вышкой.

Левее и ниже нашего дома (мы живем на холме) торчит (в буквальном смысле торчит, выглядывая из кустов облепихи) чужое общежитие. Там живет Герцог, наш заклятый враг. Почему «Герцог»? Потому что чужое общежитие называется «Дворянское». Кто дал такое прозвище деревянному «курятнику», неизвестно. И еще потому, что наш враг носит «герцогский» плащ-дождевик.

Почему враг? Потому что сволочь! В такое утро неохота даже думать о нем!

Правее и выше по холму — здоровенный дуб. Под дубом, среди пожухлых листьев, валяются спящие, налетавшиеся за ночь летучие мыши. Это уродливые морщинистые человечки в черных плащах, похожие на Герцога, каким он будет в старости. Я всегда аккуратно обхожу их, стараясь не наступить. Не люблю летучих мышей, визжу, когда они с противным клекотом проносятся почти у самого моего лица. Пару раз нетопыри намертво вцеплялись в мою шевелюру, и приходилось выстригать целые пряди. А я мечтаю о длинной косе...

Итак, шалаш был на месте. Я откинула брезентовый полог, раздвинула тонкие ветки, расплела завязки из бечевы и заглянула внутрь... Там, на подстилке из сухого хвороста, к которому только поднеси спичку — и вспыхнет, — лежал маленький черненький сморщенный человечек!

Ну и гадость — летучая мышь! Кто ее подбросил?

Шестилетний Генка, шкодливый и трусливый, был единственным, кто на такое способен — напакостить, а потом убежать.

— Генка! Ты где, бармалей? — закричала я, выбегая из оскверненного «балагана».

Белоголовый мальчишка выскочил из-за гаража (к моему приходу, что ли, сюрприз готовил?) и, хохоча, бросился бежать.

— ...Гад!

Мне удалось настигнуть его и толкнуть так, что он скатился в канаву. Там Генка мгновенно забился под трубу, установленную на подпорах, проворный и наглый, как зверек-вредитель. Прыжки в грязную канаву для меня, покрытой шрамами и ссадинами, проблемы не составляют, — но тут долетел мамин голос:

— Таня! Завтракать иди!

— Твое счастье, — проговорила я, переводя дыхание. — Вот поем и вернусь...

А Генки уже не было в траншее. Свесившись с ближайшего дерева, он кривлялся и кричал, передразнивая:

— Таня, домой! Таня, в туалет! Таня, иди получать ремня!

— Ну, погоди, Витька придет...

— Чем ты отличаешься от чушки¹, пгидугок? — Картавя, в промежутках между затрещинами вопрошал у Генки Витька. — Или мы для тебя — чушки, а с *людьми* ты культушный? Все — убгаты!

¹ «Чушка» — «свинья» (прим. автора).

Витька, самый веснушчатый человек из всех веснушчатых на земле, не спускал другим «скотинского поведения», как он говорил.

А уже через пару часов наш «балаган» был разобран до последней дощечки. Апрель, ленинский субботник — вот про что мы забыли! Командированные жильцы, вышедшие во двор с песнями, граблями и метлами, за четверть часа растаскали «кучу мусора», и нас помогать заставили.

В паре со мною таскал на помойку фанерки и листы шифера, оставшиеся от «балагана», побитый Генка. Витькиным напарником был тощий Тишка. Он жил с матерью в нашей квартире, в угловой комнатке.

Витька был мальчик справедливый. Генка — драчливый. Ну а Тишка в свои пять лет все еще мочился в штаны. Его можно было увидеть на нашей кухне голым, стирающим свои портки. Пятидесятилетняя тетя Генриетта так воспитывала сына: сам описал — сам стирай.

И тот, сопя, стирал, а его мать злобно напутствовала:

— Чтобы ты заболел и умер!

— А вот я заболею... и выздоровею! — неожиданно огрызнулся Тишка.

У тети Генриетты были «нервы». Тишка — поздний, выстрадавший ребенок, притом туберкулезник, — дорого ей обходился.

Перетаскали хлам, помирились, разошлись по домам.

2. Поселок

Я приехала в поселок, когда мне было три года. И оглядевшись, поначалу взгрустнула.

В Майкопе, где я родилась, во дворе росли урюк и алыча, свешивался гроздьями ароматный тутовник, пахло раздавленными каштанами. Там было жарко, шумно и говорливо. А здесь — пустыня! И бетонные плиты, нагроможденные в виде пирамид, и вечно разрытые канавы не казались заманчивыми «лазалками», а наводили тоску. Какие-то чудища грохотали за бетонным забором — страшные, ржавые, они мне даже приснились потом!

Вскоре я узнала, что чудища — это Подъемные Краны, и что за нашим домом находится Свалка металлолома. Туда свозили туши разбитых, поедаемых коррозией автомобилей, чугунные плиты непонятного назначения, нерабочие печки и мангалы, корабельные останки. И это было наше любимое место для игр.

Из Дворца культуры каждый вечер неслись эстрадные песни. Меня укладывали спать, а тут — громкая музыка. Зачем ее врубали, никто не знал. За Дворцом была танцевальная площадка, но я ни разу не видела танцующих пар. Сквозь трещины в бетонном накате прорастала трава. А музыка гремела каждый вечер — Пугачёва, Антонов, Боярский. Иногда, продолжая грохот Свалки, — «Зодиак» или западный «Спейс».

Ровно в девять вечера включали Джо Дассена. Когда я впервые его услышала, спросила у мамы, кто это поет. Мама ответила: «Джо Дассен, французский певец, который уже умер». Я поинтересовалась, почему он умер. Не знаю, что побудило маму ответить так, но она сказала — дословно: «У него разорвалось сердце от любви к людям».

Я слушала музыку Джо Дассена и верила маме...

С трех лет я боялась смерти. Мама придумала, как меня успокоить. Она сказала: люди умирают, это правда, но пока ты растешь, ученые изобретут лекарства, продлевающие жизнь до пятисот или до тысячи лет — и даже такие, благодаря которым люди смогут *жить всегда*.

Это «всегда» показалось еще страшнее смерти. Лежа без сна в кровати, я представляла бесконечную извилистую дорогу, уходящую в горы. У нас такая дорога начиналась за *ашханой*, местной столовой, и заканчивалась выходом на плато, где были кладбище, яблоневый сад и парк. Моя же дорога конца не имела, и на каждом повороте маячила, поджидая меня, старуха в черном, с палкой. Поворот повторялся, и все повторялось; и это было и будет *всегда*. Бессмертие, в отличие от смерти, не пережить никаким ученым — и никуда от него не деться.

Еще впечатления; они свежи и остры, как ранние тепличные огурцы...

...Мама везет меня на чугунных санках с литой спинкой и деревянным сидением. Санки застелены пуховым платком, и я вся, вместе с шубкой и валенками, завернута в платок. Скрипит под полозьями снег. А вокруг — высокие сугробы. Пощипывает щеки, влажнеют, а затем склеиваются, смерзаются ноздри: это мой первый мороз, и он для меня — открытие. Я — первооткрыватель зимнего поселка, может быть, его первый поселенец! Куда мы едем?

...Я гуляю с мамой за руку. К озеру сбегают огородишки и сараи, дорога — сплошная грязь. Единственное живописное пятно — полоска неба между сараями. К одному из сараев приколочен фонарь с неоновой лампой. Фонарь загорается каждый вечер, едва начинает темнеть. Небольшая низкая тучка всегда висит в этом месте, розово-багровая в свете мигающей, издыхающей лампы. Тучка сопровождает меня от самого дома: ждет, когда меня выведут на прогулку, неторопливо летит за мной через парк — и здесь, у фонаря, мы с мамой идем дальше, а тучка остается висеть над сараем. «Мама, смотри, облако!» — «Где облако? Там общественный туалет, глупышка», — мама смеется. «Там облако», — повторяю я. «Ты хочешь в туалет? — Догадывается мама. И сердится: — Японский городской... Только вышли!» Мне грустно: мама не видит облака... Потемнев, оно выпускает первые слезинки, и мама торопит меня. Тучка плачет; завтра все будет в лужах...

...Мы идем прогуляться перед ужином. Спускаемся к озеру, выходим на пляж, который называется «гусиным». Уже сереет небо, пищат комары и вода стекленеет. В это время суток не искупаешься. Но здесь красиво и тихо. Озеро Иссык-Куль не зря называют «жемчужиной»: от него идет жемчужное сияние, и это видно только в сумерках... Вдруг мама наклоняется и, покопавшись в песке, поднимает что-то круглое, гладкое. Яйцо! Какая-то курица, растеряха, снесла его прямо на пляже! Мы радуемся, я даже подпрыгиваю, мама смеется. «Сварим макароны, яйцом зальем, — размышляет она вслух. — Или нет, я тебе его сварю в “мешочек”... Или хочешь всмятку, доченька?» Мне все равно, как мы съедим яйцо. Я радуюсь, потому что вижу мамину улыбку. «Мама, мама! Можно я понесу?»

Конечно, я кокнула это яйцо. Как мы с мамой плакали! Но меня она не ругала, даже не упрекнула.

Осенним вечером к нам пришла незнакомая женщина. Мама сказала, что это тетя Валя, и она теперь будет у нас жить, вместе с беспокойным кряхтящим кульком, который она принесла с собой.

Пока «кулек» разворачивали, он обчихался и описался. Тетя Валя и мама засуетились, стали греть воду в тазу кипятильником, достали какие-то тряпки. Я с интересом рассматривала недовольно пыхтящее существо с большой головой и раздутым тельцем, с тонкими ножками.

Когда существо переодели, я узнала, что его зовут Геннадий, что ему нет и года, но, невзирая на это досадное обстоятельство, я должна буду с ним играть.

Как это — «нет и года», я не понимала в свои три. И что мне делать с этим Геннадием? Ему, как выяснилось, даже конфету нельзя. Попыталась угостить

«сосучкой», чтобы задобрить плаксивого, так он ее облюновил и выплюнул, а потом покрылся красноватой шелушащейся сыпью, за которую влетело почему-то мне!

И как, спрашивается, с ним играть, если нельзя надевать на него кукольную одежду, нельзя колоть ему уколы бабушкиным настоящим шприцом (без иглы, правда), нельзя его щекотать, щипать, трясти за плечи, дуть на красное личико, чтобы он смешно морщился? Поиграешь тут!

Потом, гораздо позже, мы подружимся и забудем оба, как забываются все досадные конфузы, каким ты, Генка, был неуклюжим пузаном с большой головой, покрытой беленькими волосиками, и как ты делал неумелые шажки и падал, стучаясь башкой.

И, конечно, мы забудем (и, что важно, забудешь ты), как я тебя обижала: щипала, тягала за тонкие волосики, совала за ворот горсть крупных градин, пока поблизости не было взрослых. Я мучила тебя, потому что меня распирало от какого-то болезненного чувства. Это происходило обычно, когда ты ковылял или ползал рядом со мной, и я улавливала твой запах — теплый, ягнячий, раздражающий. Я украдкой рассматривала пухлые растопыренные пальчики, вареничные ушки, кукольно-хрупкое вечно хмурое личико, нетронутое младенческой безмятежностью. И насмотревшись и надышавшись, наполнялась звериной любовью и принималась мучить тебя...

Став постарше, я узнала, что наш поселок с манящим названием Пристань — самое «крайнее» место на свете и вся «настоящая» жизнь происходит вне его.

Полностью поселок назывался Пристань Пржевальского. А близлежащий город — Пржевальск, в честь путешественника Пржевальского, могила и музей которого находились на холме над нашим общежитием, минутах в двадцати ходу.

В поселке на берегу озера Иссык-Куль жили русские, украинцы и этнические немцы. Киргизов, представителей коренного населения республики, на Пристани было мало. Наезжали и командированные — такие, как мы.

Мало кто знал о том, что красивейшее озеро Иссык-Куль служило полигоном для испытания торпед.

Глядя назад, я все вижу сквозь дымку. И в центре — нашу дворовую компанию, состоящую из Витьки, Тишки, Генки и меня. Как будто мы только вчера сидели на Свалке в своей любимой пещерке, образованной бетонными сваями и чугунными скобами. Я назвала пещерку *каменоломней* — и прижилось.

Вижу три мальчишеские головы — две беленькие и одну русую. И даже себя, цыганистую девочку с подвижной мимикой и испачканным лицом, почему-то вижу. С нами — преданная собака Булька. Эта лохматая вислоухая дворняжка — все, что осталось от большого собачьего семейства, вывезенного со двора живодерами. Навел на двор «собачников» наш враг Герцог: якобы псы своим лаем мешали спать его малолетним детям...

Вокруг — в дымке: горные хребты со всех сторон (мы в котловане), озеро, пыльная дорога, где бродят собаки и домашняя скотина, которую хозяева отпускают на вольный выпас. Иногда скотина забредала в наш двор, лакомилась цветами с клумбы. А то, проснувшись рано утром, мы видели под окном озабоченную морду коровы или лошади, увлеченно жующей подол маминой юбки, сушившейся на веревке во дворе. И не было никого с фотоаппаратом!

Центральная улица была названа в честь Кирова, но ее переименовали в Гальюнштрассе — из-за деревянных сортиров вдоль дороги, наивно и бесстыдно претворявших в жизнь лозунг технички тети Маши: «Шоб у кустах не гхадили!» Среди командированных шутников хватало. Пржевальск, близлежащий «крупный» город, заводские остряки называли Парижем. И каламбурили: «В Париже нечего жевальск!»

Транспорта на Гальюнштрассе было мало. Проезжали в кои веки рейсовый автобус до Пржевальска и наш заводской. С ревом проносился на старенькой «Яве» с коляской, вздыбливая пыль, участковый милиционер, почему-то грузин. Иногда грохотала по своим делам грузовая машина с крытым кузовом; заводчане называли ее «Коломбиной». Моя мама посвятила ей стишок:

Какая странная машина —
Загадка века «Коломбина»!
Как только ехать дан приказ,
Она ломается тотчас.
Как Вовка деньги получает,
Она не ездит, а летает!

Вот и весь транспорт.

...Картинка расплывчата, зато звуки отчетливы.

Фон — звенящая предутренняя тишина. Ноты, отрывистые и мелодичные, проступают из тишины, как контуры и линии — из загрунтованного холста. Свист крыльев летучих мышей — пригибайся, беги! Кряканье, клекот, «курлы-курлы» и «гур-гур-гур» от окрестных огородов с их птичьими хозяйствами.

А еще каждое утро, за годом год, пронизывая рассветную тишину, доносился мелодичный женский голос, звавший: «Ребя-ат-ки!» Кого выкликала эта женщина, и что за «ребятки» торопливо, гуськом или россыпью, спешили на ее зов, я так никогда и не узнала.

Жизнь в поселке была суровой, как горный климат. Мама, приехавшая туда, потому что командированным давали общежитие, а в Ленинграде нам жить было негде, ходила в ватнике. Чтобы приезжие не приставали. Привыкнув огрызаться, мама посуровела, между тонких бровей навсегда проступила вертикальная складка.

Одним взглядом она вызывала оторопь у местной шпаны. Цветисто ругалась: «етиткин хнык» и «мать твою за ногу». Но что больше всего меня озадачивало, так это «дуры кусок». Я понимала по-своему: если я — «дуры кусок», значит, мама — целая дура! Или почти целая: без одного куса...

Мама гонялась за мною с ремнем в руке (чаще не догоняла). Генкины вопли, доносившиеся из-за тонкой дощатой стенки, оповещали весь дом о том, что Генку порют, будь здоров! Опять шлялись по свалке, опять стащили спички? Получите — распишитесь! Попомните в следующий раз. И со двора — ни на шаг, поняли, чудовища?

Мы отсиживались в зарослях чертополоха, мрачно переживали общую на двоих обиду. Недолго, впрочем: все плохое накатывало внезапно, протекало бурно, забывалось мгновенно. Быстрее, чем кошка успевает окотиться. А повидали мы и кошачьи роды; жизнь ничего не таила от своих детей, и слово «полигон» приобретало у нас различные смыслы.

3. Наши матери и мы

Матерям, молодым и одиноким, вместе живущим и воспитывающим «исчадий», приходилось держаться друг за дружку. Их дружба была не женской, а скорее мужской: подставить плечо, подать молоток, приволочь из магазина аж две неподъемные сумки (если вдруг в «Стекляшку» завозили какие-ни-то продукты, и одна раньше другой поспевала к месту разбора). Они дружили, не рефлектируя, не оценивая друг друга,

приняв безоговорочно тот факт, что вдвоем легче, чем поодиночке. Они редко плакались друг другу в жилетку. Не до того было.

Первую красавицу звали Лида. Она была тридцатилетняя, высокая и тонкая, с неожиданно большим бюстом и длинными ногами. Фигура *манекенищицы*, как говорили в восьмидесятые. Уже давно термина такого нет. Однако гламурное «модель» не подошло бы к Лиде: для *модели* ей чего-то не хватало. Или чего-то было слишком много. Темные кудри, прическа «Гаврош» (еженощный болезненный сон в бигуди). Крупные черты лица, нос не то древнеримский, не то древнегреческий. Глаза такой ослепляющей синевы, что даже не верилось. Порода!

Вторая, Валя, была немного моложе Лиды, ниже ростом и шире в кости. А выглядела худее — может, потому что грудь имела небольшую. («Такое богатство и такое неудобство», — так говорила Лида про свой бюст.) Валя редко носила распущенными свои русые волосы, чаще собирала их в косу или сооружала на затылке «гулю».

Обе были красивы по-своему, не кукольной красотой, а настоящей, хотя их улыбки не были белоснежны, а шкафы не ломились от нарядов. Молодые одинокие мамы, женщины конца семидесятых—начала восьмидесятых. Бедные девочки, тростинки, тепличные растения, каким-то полоумным селекционером пересаженные в условия вечной мерзлоты. «Какие побеги они дадут?», — возбужденно думал селекционер, потирая руки.

Однако эксперимент удался: побеги оказались живучими, практически неистребимыми. Чахлые на вид, но стойкие, не ломкие, хлесткие, пахнущие клейкой высокогорной смолой и свежайшим древесным соком.

Как только меня выпускали погулять, я тут же пулей вылетала за дверь. И неслась, не разбирая дороги, — и грохалась. В момент падения умудрялась подставить под удар сразу и колени, и локти, и подбородок! Наша домашняя аптечка опустошалась моментально. Уходило все, что годилось для обработки ран: йод, зеленка, перекись водорода, стрептоцид. Километрами расходовались бинты и ленточный пластырь.

Мама перевязывала меня, как раненого бойца. И повторяла, как заклинание: «Не боли у Танечки, не боли у маленькой... А боли у волка, боли у крокодила, боли у Бармалея»... Однако мне было жалко и волка, и крокодила, и даже Бармалея, — и я возражала: «Нет, надо говорить — боли у Яна Смита из Южной Родезии!»

Мятежный правитель самопровозглашенной республики, сторонник расовой сегрегации, по определению, был хуже и Серого Волка, и самого Бармалея. Так воспитывали.

Боль и досада от падения быстро забывались. Во время перевязок я с интересом разглядывала свои многоцветные раны — красно-сине-фиолетово-желтые. И всегда отколупывала корочки.

Оставлять меня без присмотра в общежитии на весь день было нельзя. Запертая в комнате, я вспарывала подушки, выпускала из них перья, разрисовывала свежевыбеленные стены красными мелками. Однажды после одной такой выходки нас с мамой вежливо, но твердо «попросили» из общежития.

Мама сняла комнату у базарной бабы Фени. Помню толстых внуков этой женщины. Видимо, наигравшись в тот период, мы потом никогда не общались (хотя ходили в один детский сад, а затем и в школу).

Вскоре нам разрешили вернуться в общежитие: то ли комендант сменился, то ли прежний подобрел. Однако больше мама не оставляла меня дома одну, а оформила в детский сад.

У бабули и няни я жила как королевна. Кушала овсянку, периодически

разбрасывая комки каши по всей комнате или «докармливая» ими няню. Гуляла, окруженная мелюзгой, буквально глядевшей мне в рот, потому что я знала так много историй и стихов и так интересно их рассказывала.

«Моя нецененна, моя драгоценна», — говорила обожавшая меня старушка-няня, а сама все вязала и вязала носки на мои стремительно растущие лапы: в полоску и в ромбик, с рыбками и кисками, нитяные и пуховые...

Было очевидно, что избалованный, неприспособленный ребенок не выживет в новых условиях. Поэтому в первую очередь мама объяснила мне, что я — «пигалица» и «шмокодявка», а вовсе не царственная особа, и что теперь я должна ходить в садик, как все нормальные дети. Годовалого Генку вон и то в ясли отдают: тете Вале пора на работу. Так что завтра мы пойдем в садик вместе, и я подам Генке пример «взрослого» поведения.

Я попыталась капризничать, орать, но на маму это не действовало совершенно.

— Не хочу-у-у! Не бу-у-у-ду! — Верещала я, мотая головой, неровно выстриженной после схваток с летучими мышами.

— Хотеть буду я! — жестко ответила мать. — Твое дело — слушаться.

Это объяснение все расставило на свои места. Значит, теперь будет так. Всю долгую и унылую вечность, которую придется прожить после того, как врачи изобретут лекарства от смерти, — только так, и никак по-другому. За меня хотеть будет мама. И баста.

Главное впечатление, оставшееся от детского сада, — это укоренившееся на много лет убеждение в том, что я дебил. Я не умела завязывать шнурки на ботинках, облуплять яичко за завтраком, застилать кровать. Ничего не умела.

В Майкопе я считалась «одаренным ребенком». В годик заговорила фразами. Читала гостям стихи, стоя на табуретке. «Кто скачет, кто мчится под холодной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой». Еще больше бабуля любила, когда я читала свои собственные стишки. «Представляете, внученьке три годика, а она уже стихи сочиняет!» Бабуля рассказывала, как застала меня ночью сидящей в кровати и бормочущей что-то с полузакрытыми глазами. Она прислушалась: я декламировала:

Ночью сон в глаза нейдёт,
Утром вьюга стонет ужасная.
Отчего так время идёт?
Отчего наша жизнь напрасная?

Бабуля обалдела — от сочетания глубокой и пронзительной философии с простонародным «нейдет». Это моя старенькая няня, деревенская женщина с чистою душою, так говорила: нейдет. Няня окончила четыре класса церковно-приходской школы с похвальной грамотой и наградной книжицей за подписью государыни-императрицы. Она читала мне народные вирши и стихи классиков, безжалостно перевернутые народом же. Она и запустила в кудрявую голову младенца философские размышления...

Уже в поселке, стриженная под мальчика девочка в шортах, я разгуливала по парку за обветшалым ДК, бубня себе под нос: сочиняла увлекательные истории про себя и своих придуманных друзей. Пока я так ходила и бубнила, за мной выстраивалась стайка местных детей, семенивших по пятам и передразнивавших мои гримасы и жесты. Однажды, когда я особенно увлеклась и, размахивая руками, принялась разговаривать сама с собою вслух, меня обожгло что-то ниже спины. То был камешек, брошенный кем-то из обезьянничавших «поклонников».

Так меня настиг первый гонорар. Или первый критический отзыв? Кто знает. И то и другое бывает и сладко, и больно.

В мой первый детсадовский день воспитательница и нянечка конвоировали нас в уличный туалет. Воспитательница сопровождала девочек, а нянечка — мальчиков. Запускали детей в сортир по три штуки, потому что страшных дырок в полу было по три, в том и в другом отсеке.

Мы шли чинно, держась за руки: мальчик-девочка, мальчик-девочка. Еще одна «прелесть» детского сада — необходимость брать за руку совершенно чужого человека. Не помню, чтобы мне хоть раз достался мальчик без бородавок.

Посреди детской площадки рабочие монтировали чугунную карусель. Годом позже меня столкнул с этой карусели, я треснусь об ее лопасть, получу черепно-мозговую травму. Всю жизнь буду мучиться головными болями: сезонными — до двух недель, ежемесячными — по два-три дня — и еженедельными — каждые выходные...

Тогда я этого еще не знала, а только увидела сноп искр под руками рабочего-сварщика.

Неделей раньше мы с мамой шли мимо сваленных в кучу труб, с которыми возились какие-то люди. Рабочий в каске и маске, похожий на рыцаря в шлеме с забралом, сидел перед трубой на корточках, и под его руками плясали искры. Я остановилась и уставилась на огонь.

«Отвернись, — приказала мама и дернула меня за руку. — Это — *сварка*. Нельзя смотреть, а то ослепнешь». Мне хотелось смотреть и смотреть на белые икры, с треском рассыпавшиеся под руками «рыцаря», но от них и вправду заболели глаза...

И сейчас, увидев знакомые искры, я обрадовалась им, как родным. Но тут же вспомнила слова мамы о том, что они очень опасны.

— Не смотрите туда, — сказала я детям. — Там... там это...

Я пыталась вспомнить слово — «сварка», но не смогла. Зато вспомнила, как мама кричала накануне, обнаружив после стирки, что я опять запачкала свой костюмчик: «Все насмарку!»

— Там — *смарка*, — повторила я, гордая тем, что посвящена в таинство.

— Ох-хы-хы! — толстая нянечка остановилась и, уперев руки в бока, грубо расхохоталась. — Вы слышали, Антонина Павловна?

— Да уж, они такое выдают — хоть стой, хоть падай, — со снисходительной улыбкой отозвалась миловидная воспитательница.

А огонь в двух шагах от нас шипел, приплясывал и, казалось, тоже смеялся надо мной, вместе со взрослыми.

Генка был трудным ребенком. Еще бы: он рос уверенным в том, что жизнь состоит из тумачков, подлянок и насмешек.

Однажды мне пришлось вызволять его из настоящей беды. В тот день мы гуляли неподалеку от озера; Генка увязался за мной, пробуя на выносливость свои рахитичные ножки. Он-то и обнаружил узкую щель между кольями, на которые были натянуты панцирные сетки. И тут же, как земляной червяк, шмыгнул — и исчез.

Я полезла следом за младшим, не раздумывая, и уже через несколько секунд обнаружила себя рядом с Генкой на мокром, холодном *гусином* пляже. В этом месте, где озеро теснили плотно пригнанные огороды, никто не купался. Вход в воду терялся в камышах и колючих зарослях, на берегу валялись грязные клочки пены, тины и вынесенной прибором щепы.

У самой воды стояли лодки, или *ялы*, прикованные цепями к столбикам. В одном из ялов сидели четверо мальчишек и передавали друг другу дымящую, вонючую папиросу. Они посмотрели в нашу сторону.

— А ну, иди сюда, малой, — поманил Генку долговязый мальчишка-вожак. — В лодке хочешь посидеть?

Тот пошел к нему. Я — следом.

— Нянька, что ли? — спросил второй мальчишка, кивнув в мою сторону.

— Не, сестра евоная. Она всегда его пасет, я их на горке видел, — объяснил первый мальчишка. И протянул руку, помогая Генке забраться в лодку.

Генка полез — и едва оказавшись в лодке, зацепился штанами за гвоздь, кем-то вбитый в рассохшуюся доску. Мальчишки басовито рассмеялись. Генка дернулся, пытаясь высвободиться, но не смог. Шляпка гвоздя плотно застряла в ткани. Поняв, что он в плену, Генка громко разревелся, обиженный тем, что его заманили, пообещав чудесную игру, а теперь смеются над ним, и игры никакой, видимо, не будет.

Я поняла: заступиться за Генку означает оказаться битой. Поэтому я сама рассмеялась.

Тем временем долговязый мальчишка спустил Генкины штаны вместе с трусами.

— Пускай покрасуется, — заявил он, довольный собой.

Генка, пунцовый от обиды и злости, стоял в спущенных штанах и ревел, как мотор «Запорожца». Мальчишки были так увлечены издевательством, что не заметили, как я исчезла.

Путь до общежития занял несколько минут.

— А, это ты, — тетя Валя, развешивавшая во дворе белье, обернулась. — А где Генка?

Она хмурилась, на глазах темнея лицом, пока я сбивчиво говорила. Потом шваркнула на землю таз с мокрыми тряпками.

Я привела ее к лазу — и тетя Валя тут же полезла в щель! А перед этим выдернула из земли куст колючего чертополоха, обмотав руку подолом юбки. Шатались столбы, до предела натягивалась сетка — но она протиснулась!

Через полминуты с пляжа донеслись вопли Генкиных обидчиков. И я с удовольствием представила, как тетя Валя настигает их и хлещет колючками по голым ногам, как они бегут от нее в озеро, путаются в тине, застревают в камышах... и тонут!

А мы с Генкой возвращаемся на опустевший берег и поджигаем вражеские ялы, которые навсегда связались у меня со сценой унижения. Один за другим, чиркая спичку за спичкой...

4. Огнепоклонники

Впервые я увидела этот сон в шесть лет. Мои друзья вдруг превратились в птиц. Вместо рук у них выросли огромные крылья, которыми они взмахивали, медленно и торжественно поднимаясь все выше над нашим двором, над клумбами и сваленными в кучи бетонными балками.

Только это вовсе и не крылья были, а трескучие снопы пламени, живые языки огня! Как при электросварке!

Мои друзья, переглядываясь с восторгом и — это было заметно — с некоторой опаской, сначала робко, а потом все смелее и смелее взмахивали своими устрашающими крыльями, от которых распространялся сильный жар. Казалось, каждый из ребят висит посреди двора в дымном колеблющемся ореоле.

— Мы — Дети Огня, — воскликнул Генка. — Вот здорово!

— Да! Мы — Дети Огня, — вторили ему Витька с Тишкой.

— Куда вы улетаєте? — я бежала за ними по двору, но до Генкиного ботинка уже не могла дотянуться рукой, сколько ни подпрыгивала.

— Мы сами не знаем, — тихонечко донеслось уже с высоты.

Покружив в последний раз над Дворцом культуры, мои друзья вдруг вспыхнули, как факелы, и пропали, оставив три мутных облачка.

Видимо, я всплакнула: утром проснулась на мокрой подушке...

Потом этот сон повторялся и, как ствол дерева, понемногу разрастался. И вот я уже отправлялась на поиски друзей... Находила их по характерным признакам:

выжженным лужайкам с черными мумиями деревьев, выгоревшим сараям, обугленным лодкам...

Перед психиатрической экспертизой мы с Лизаветой пили кофе в кабинете, а наши коллеги-психиатры, как обычно, отравлялись табачным дымом.

Клавдий Прохорович, бородатый демагог, неукоснительно следовавший инструкциям всегда и везде, курил только на улице, за больничными воротами. Он даже вынес туда два стула, журнальный столик и пепельницу и повесил табличку: «Место для курения». Сергей Александрович, ироничный толстяк, пренебрежительно относившийся ко всему, что исходило от начальства (кроме денежных надбавок), нахально смолил у себя в кабинете, высунувшись в окно так, что из нашего флигеля была видна его округлая и сдобная, как пончик, блаженно щурившаяся физиономия.

Невзрачный кабинет психологов — два рабочих стола, заваленных папками, сейф и плотные жалюзи — больше напоминал кабинет следователя. Но макет человеческого мозга в шкафу за стеклом, плакат с «молитвой гештальтиста» на стене да десяток книжных полок с яркими корешками, с которых перекликались Фрейд, Юнг, Роршах, Ломброзо, Скиннер, Ялом и другие великие монстры, указывали на то, что этот бункер — *психосвятылище*.

— Опять поджигателя привезли, — сказала Лизавета. — Теперь либо тебе, либо мне его отпишут.

— Отдай его мне, — попросила я.

— Бери, — Лизавета махнула рукой. — Не жалко. Вот сегодняшнюю девочку с маниакалом я бы не отдала...

Лизавету интересовали тревожные расстройства и панические атаки. Меня — поджигатели... Хотя я больше люблю слово «огнепоклонник». «Поджигатель» отражает всего лишь действие, а «огнепоклонник» — мотив.

В нашем коллективе только Сергей Александрович знал о том, что у меня самой когда-то подозревали пироманию¹.

Мы тогда только что переехали в Ленинград, и мама обнаружила в моем столе пачку рисунков, на которых был изображен пожар.

Рыжие снопы, черные расплзшиеся кляксы... На фоне огненной стены — бегущие с перекошенными черными ртами, без глаз (зажмуренных от ужаса) мальчишки. Четыре муравьиных мальчишечьих фигурки — на переднем плане, и две — девчоночьи — далеко-далеко, еле помеченные яркими пятнышками сарафанов или платьиц.

Мама нашла рисунки и испугалась. И я оказалась в кабинете психиатра.

— Доктор, — обратилась мама к Сергею Александровичу (на тот момент — миловидному круглолицему брюнету, не толстому и не лысому), — посмотрите, что рисует моя дочь, — и она вывалила на стол рисунки.

Доктор, улыбчивый и, в общем-то, совсем не страшный, просмотрел все, что-то бубня под нос (как мне показалось, даже одобрительно) — и, повернувшись к маме, задал совсем неожиданный вопрос:

— А она у вас долго писалась?

Мама начала краснеть — шея, уши, потом лоб — и, не глядя на меня, тихо проговорила:

— Танька, выйди...

¹ Психическое расстройство, нарушение импульсивного поведения, проявляющееся в неконтролируемой тяге к огню. Пироманы (или лица, страдающие этим расстройством, сознательно и целенаправленно совершавшие поджоги более одного раза) устраивают пожары сами, а также любят наблюдать за огнем, что доставляет им огромное удовольствие.

...Я, конечно, подслушивала. За дверью мама говорила быстро-быстро, я улавливала обрывки ее фраз, перемежаемых рокошущим «бу-бу-бу» доктора, задававшего вопросы.

— Родной папаша — пьянь болотная... Второй брак... хороший... Село... контингент... дворовая шпана... Акклиматизация... месячные...

Мне вдруг расхотелось подслушивать дальше.

Но доктору я потом много чего порассказала. Все, что помнила, особенно про пожар.

— ...Никакого расстройства, — успокоил маму Сергей Александрович. — Ваша дочь испугалась, побывав на пожаре. Ее бы на море свозить, в санаторий...

— Да, да, — тихо согласилась мама, — конечно, свозим...

И добавила:

— Действительно, однажды она стала свидетелем поджога. Но ведь это было так давно... Четыре года назад!

Лизавета размешивала сахар в маленькой, почти крошечной чашечке, в которой плескалась чернота.

— Расскажи про этого... клиента, — попросила я.

— Совершеннолетний. Вроде не дебил. Я знаю только то, что в новостях видела... А вчера Прохорыч сказал, что его отправляют к нам. Вот и все.

— А что было в новостях?

— Помнишь, по «Пятому каналу» передавали, что автосервис сгорел со складами? Этот он его поджег! Ущерб — мама не горюй. До конца своей жизни выплачивать будет...

— Если мы не отмажем, — уточнила я. — То есть, если признаем вменяемым.

Приятно все-таки чувствовать, что судьбы других зависят от тебя.

В дверь до пояса просунулся тощий вертлявый лаборант, похожий на диккенсовского Урию Гипа¹, и торчал несколько секунд, переводя подслеповатый взгляд с меня на Лизавету и снова на меня.

Мы лаборанта не любили. Он постукивал начальству: на Сергея Александровича — за курение в кабинете, на меня — за опоздания, на Прохорыча — за взятки в виде коньяка. Только Лизавете, единственной неподсудной из нас (она не пила, не курила, к тому же была племянницей ведомственного чиновника), Урия Гип не делал гадостей. Впрочем, она его тоже терпеть не могла.

— Елизавета Ивановна, вас ждут все, — прогундосил лаборант. — Пора начинать!

После Лизаветиной экспертизы была еще одна, с моим участием. Когда я вернулась, Лизавета перед зеркалом повязывала шарфик поверх серого пальто.

— Я побежала, — проговорила она. — Завтра твоего нового подопечного на девять утра записали — не опаздывай, пожалуйста.

Утренняя встреча с огнепоклонником? Уже бодрит.

— Кстати, — спохватилась Лизавета, — тебе звонил по межгороду какой-то тип. Сначала не хотел представляться. Но я сказала, что в таком случае ничего тебе передавать не буду.

Лизавету можно понять. Были случаи, когда обиженные пациенты приходили в стационар, чтобы «разобраться» с кем-то из нас. А иногда на нас жаловались в прокуратуру. «О-о, новое дело шьют, — кривясь и ерничая говорил Сергей

¹ Один из самых зловещих отрицательных героев Чарльза Диккенса из романа «Дэвид Копперфилд». Уродливый (костистый, но не угловатый, а извивающийся, с головой-черепом без бровей и ресниц), и при этом бессердечный, эгоистичный, двуличный, Урия Гип вызывает у читателей отвращение и ужас.

Александрович, читая очередное "письмо счастья" (почему-то они сыпались исключительно на его круглую голову). — Помните, лечился у нас два года назад такой Н. — алкаш с отнимающимися ногами? Я ему, болезному, так и написал: алкогольная полиневропатия... Через два года алкаш обиделся, накатал на меня жалобу: мол, не алкаш я — я хороший»...

— И как он представился? — спокойно спросила я.

Но подо мною вдруг почему-то качнулся пол, как будто завтрашний огнепоклонник уже сидел передо мной... У меня на них чутье.

— Шпилицын... Нет, Шпилицын, — проговорила Лизавета, полистав свои записи. — Геннадий Варфоломеевич. Тебе это о чем-нибудь говорит?

— Варфоломеевич? Боюсь, что ни о чем...

И вдруг в голове, у левого уха, звонко лопнул воздушный шарик.

— Шпалицын? — подскочив, закричала я. — Геннадий? Генка?

Лизавета пожала плечами. Может, и Шпалицын. Может, и Генка... Ей-то что?

— А свой номер он не оставил?

На секунду примерещилось, что это Генку приведут ко мне на экспертизу...

— Не оставил, — Лизавета, повернувшись к зеркалу, поправила шарфик. — Пообещал, что перезвонит. Я сказала — лучше завтра после одиннадцати, когда ты освободишься от своего поджигателя.

Генка тоже был поджигателем. Разумеется, об этом Лизавета ничего знать не могла.

5. Девочка-отличница

Мама Лида была девочкой-отличницей. Она закончила школу с золотой медалью, а институт — с «красным дипломом».

— Знаешь, кто у тебя мама? Нет, не знаешь, — говорила она мне. — Все знают, а ты — нет!

Я, приоткрыв рот, смотрела на нее, ковыряя ложкой кашу.

— Да, твою маму все знают, — молодая Лида лукаво улыбалась. — Вся Москва и весь Париж!

— А Ленинград — весь? — спрашивала я.

— Конечно, и Ленинград знает. Только ты никому не говори. А то другим ребятам будет обидно. Ты не должна задаваться из-за того, что у тебя особенная мама, понимаешь? Ты просто должна меня беспрекословно слушаться.

Когда приезжала в командировку мамина ленинградская подруга Инга и привозила сына Ярека, мальчика на год старше меня, мы не расставались ни на день. Ярек ходил в мой детский сад, а все свободное время проводил в нашем дворе. Он был первым, кому я открыла тайну: мою маму знают вся Москва и весь Париж!

Ярек, разумеется, поверил и обещал никому об этом не рассказывать. Но в тот же день устроил истерику тете Инге.

— А тебя знают вся Москва и весь Париж? — выпытывал Ярек у матери.

— Нет, конечно. Чего выдумал, — засмеялась тетя Инга, закручивая пряди волос на термобигуди. — Делать больше нечего, как какой-то разведенкой интересоваться. В Париже особенно...

— Ну как же так? Почему тебя не знают вся Москва и весь Париж? — разрыдался Ярек. — Ну почему, мама, — повторял он снова и снова, топя ножкой.

Тетя Инга расстроилась, напугалась и записала Ярека на прием к неврологу. И рассказала о случившемся моей маме.

Вечером довольная мама укоризненно говорила мне:

— Вот видишь, как плохо, что ты разболтала нашу тайну. Тебе что, не жалко своих друзей? Хочешь, чтобы они страдали, как Ярек?

Я трясла головой; мне было жалко Ярека и очень стыдно.

— Нельзя хвастаться тем, что имеешь, — наставляла мама. — Гордись тем, что ты умеешь!..

Но я пока ничего не умела...

— Мама, — в другой раз спросил Ярек у тети Инги, — это правда, что тетя Лида Каткова — поразительно красивая женщина?

Вот тогда-то тетя Инга и догадалась, откуда ветер дует.

— ...Научила детей, — упрекнула она мою маму. — Внушаешь дочке всякую ерунду, а она во дворе всем разбалтывает. Как тебе не стыдно?

Тетя Инга вытащила зеркальце. «Поразительной красоты», конечно, не увидела, но то, что увидела, было очень даже неплохо: черные кудри, черные ресницы, некрупный породистый нос... Ничем не хуже «поразительно красивой» Лиды! Ничем.

— Я никого ничему не учила, — с достоинством отвечала Лида. — Дети впитывают все, что видят вокруг, и делают собственные выводы.

И она, как бы невзначай, сладко потянулась, чтобы бюст под клетчатой ковбойкой закачался перед глазами соперницы. Та мгновенно скисла.

А я смотрела, слушала и думала: конечно, мама права! Вокруг нет никого красивее, никого лучше мамы. В Москве и Париже наверняка не дураки сидят.

Ярека привозили и увозили. Я грустила, но недолго: мы решили, что поженимся, когда вырастем.

Дни тянулись, похожие друг на друга. Утром я, напевая, скакала вниз по лестнице, волоча по ступенькам сумку с молочными бутылками. Бутылки нужно было сдать и, доплатив из потертого кожаного кошелька, купить молока, хлеба, масла. Если, конечно, эти продукты в магазине были.

Обычно «Стекляшка» встречала пустыми полками. На витринах в прямоугольных подносах лежали плиты маргарина, украшенные жирными цветочками и листиками. Во был — «дизайн»! Во — «мерчендайзеры»!

Когда привозили хлеб, молоко и тем более мясо, их разбирали молниеносно.

Но наши мамы даже «из ничего» сооружали вкусные обеды.

Однажды мама отправила меня к тете Вале за томатом: она решила сварить борщ. У нас были картошка, морковка, капуста. У тети Вали нашлись томатный соус и луковка. Мамы приготовили такой вкусный суп, что мы с Генкой запомнили его на всю жизнь.

Мама Лида фанатично любила книги. Знакомая продавщица в Пржевальске, с которой она специально подружилась, сообщала ей о появлении на полках «Кыргызкниги» произведений Н.Носова, А.Шарова или А.Волкова.

Однако маме необходимо было с кем-нибудь обсуждать и книги недетские. И на меня обрушивались «Отверженные» с «Униженными и оскорбленными». Сидя на горшке, я недоуменно внимала перипетиям астафьевского «Печального детектива». В моих ушах звучал крик матери несчастного младенца из чеховской повести «В овраге», которого «нехорошая тетя облила кипятком». (На мой вопрос, почему мать ребенка такое допустила, мама Лида сурово отвечала: «Потому что она — мокрая курица...») Половину творений маньяка-Диккенса я узнала крохой...

— Собирайся гулять, — говорила мама. — На прогулке я тебе перескажу одну книгу, называется «Женщина в белом».

— А о чем эта книга, мама?

Мама почему-то сердилась:

— Ну, кто спрашивает — о чем книга? Так никто не ставит вопрос. Тебя должно в первую очередь интересоваться, кто автор.

Значит, имя автора, написавшего книгу, может подсказать, про что она? Интересно...

У мамы были старший брат Витя и младшая сестра Лера.

Про тетю Леру я знала, что мама в детстве ее нянчила, а потом, когда Лера поступила в тот же ленинградский вуз, который когда-то закончила и мама, старшая сестра опекала и поддерживала младшую.

Дядя Витя, холерический технарш с задатками гения, после школы поступил в московский университет. С братом у мамы была связана невероятная история.

В студенчестве у дяди Вити была девушка Галя. Потом она заболела саркомой и умерла, и дядя Витя был совершенно убит горем, раздавлен, дезориентирован в свои девятнадцать или двадцать лет.

Стояли морозы дикие, разгар зимней сессии, а Лида в перерыве между экзаменами помчалась к брату в Москву. Она купила льготные билеты на самолет от Ленинграда до Москвы и обратно, предъявив в авиакассе студенческое удостоверение. А поскольку на Лидином студенческом отклеилась фотография и он в одночасье сделался недействительным, Лида одолжила документ у своей подруги-однокурсницы — той самой Инги. Девушки были немного похожи: обе темненькие, худые, так что на официальном фото Ингу нетрудно было принять за Лиду.

Лида прилетела к брату, и они пошли гулять по заледенелой Москве. Брат выглядел неважно: высох, почернел, его губы от мороза и непрерывного курения покрылись незаживающими болячками. Когда сестра сказала, что так недолго и застудиться, и получить заражение крови — Витя обронил: может, я хочу умереть...

Лиде хотелось заорать, схватить Витю за плечи и потрясти, надавать по щекам — все, что угодно, лишь бы вывести из этого оцепенения.

(«Я не умею сострадать — я умею только злиться», — однажды призналась мне мама. И страшно разозлилась, когда я эти слова потом припомнила.)

Вечером брат проводил сестру в аэропорт. Женщина за стойкой регистрации, взглянув на документы, автоматически спросила: «Ваш студенческий?» — «Нет, у меня фотография отклеилась, я у подруги студенческий взяла», — простодушно отвечала Лида. «Ка-а-ак, — напустилась на нее тетка, — да что вы себе позволяете? Я сейчас милицию вызову!» Она порвала билет на самолет и отогнала Лиду от стойки.

Брат Витя «полез на рожон», и Лида его еле утихомирила. Она сказала, что в такой безнадежной ситуации один выход: пойти к начальнику аэропорта и все честно рассказать, «он поможет».

К начальнику брат с сестрой прорвались, но после первых слов Лиды он дальше слушать не стал, потребовал «покинуть помещение». Шло какое-то совещание, и за длинным столом сидело несколько человек.

Брат опять принялся скандалить, обзывать пожилого человека, чуть не за грудки его схватил, но сестра вывела его за дверь. И, собравшись, снова вошла в кабинет. Начальник аэропорта повернулся к ней с таким видом, словно сейчас встанет и вытолкает ее самолично. На Лиду смотрели холодные синие глаза, не жестокие, но какие-то выгоревшие. И, будто третий всевидящий глаз, «Золотая Звезда» Героя Советского Союза глядела с форменной куртки бывшего военного летчика.

Что почувствовала Лида? Этого она не показала. «Вы же — Герой Советского Союза, — укоризненно произнесла Лида. — Вы же — не такой, как все! Что вам, человека не выслушать?» Герой поперхнулся, после заминки сделал приглашающий жест: «Ну, войдите... В чем дело?»

«Я прилетела во время сессии на один день к брату», — начала Лида. Герой приподнял бровь. Подумал, что хахаль, — поняла Лида. «Да, к брату. У него умерла

невеста...» В лице Героя промелькнуло живое участие: «Умерла — у этого мальчишки? Невеста?.. Чем я могу вам помочь?»

Лида возвращалась в Ленинград на самолете в кабине пилотов. Сидела на откидном стульчике стюардессы. И стюардесса угощала ее кофе.

Брат, при поддержке сестры, пережил горе. Через какое-то время он встретил девушку, которую звали Галей, как ту, предыдущую. У новой Гали были длинная-преддлинная коса, большие серьезные глаза — и мертвая женская хватка. Семью они создали крепкую, практически нерушимую. Их дочь Саша, моя сестричка, приезжала на лето в Майкоп. Мы дружили, засыпали в обнимку, дрались, соперничали из-за няни и юной тети Леры, которую в нашей семье называли ласково — Лерочкой...

Мама для меня — не просто авторитет. Мама — легенда. Она никого не боится и всегда говорит то, что думает.

«Если ты права, тебе нечего бояться, — говорит мама. — Даже если все против тебя. Ты, главное, сама верь в свою правоту. Если *ты* сомневаешься — тогда другое дело». И после паузы добавляет: «Вот я — всегда в себе уверена!»

Мама обучит меня, драчунью, нескольким «отшивающим» и «уничтожающим» фразам, с которыми я без драки завоюю уважение в сельской школе. Научит меня писать сочинения лучше всех в классе, перебарывать себя и делать то, чего хочется меньше всего.

В «шалльные девяностые» мама будет вести переговоры с заказчиками, выбивая деньги для оборонного предприятия. Потом уйдет в коммерческую структуру и до семидесяти лет проработает менеджером наравне с молодыми.

Девочка-отличница Лида не станет доктором наук, известными политиком или бизнес-леди. Отличники редко достигают внешкольных звезд. Но все, за что она возьмется, будет выполнено на «отлично». И даже я (мамино самое неказистое произведение) закончу школу почти отличницей, с одной-единственной четверкой — по географии.

6. Пана Виталик

Однажды мама обронила:

— Скоро приедет Виталик. Его ты будешь слушаться!

Почему это я должна слушаться неизвестного Виталика? Не хочу и не буду!

Но теперь почти каждый день я слышала, что «приедет Виталик». И привыкала к мысли о его скором приезде...

— А Виталик тоже будет у нас жить? Как тетя Валя и Генка? — Спрашивала я.

— Посмотрим, — мама слегка хмурилась и как будто сердилась, но щеки ее нежно покраснели... как у Генки, когда он врет.

Значит, Виталик будет жить у нас.

— А откуда он приедет? — выпытывала я.

— Из Ленинграда, — говорила мама.

Я уже знала, что из Ленинграда можно приехать только самолетом. Задирала голову, смотрела на небо. Небо над поселком было чистое-пречистое, лишь изредка набегали и проплывали фигуристые облака. Если смотреть долго-долго, обязательно увидишь, как пролетит крошечный самолетик с длинным дымным хвостом.

— Мама, а вон там Виталик летит? — нетерпеливо спрашивала я, заведя самолет.

— Нет, доченька. Когда ему подпишут командировку, об этом сразу станет известно.

— А кто ему подпишет командировку?

— Партия и правительство.

Значит, про приезд Виталика сообщат по радио!

Мы каждый день слушали радио — пластмассовую коробку, самый важный предмет в крошечной комнатке. Временами коробка принималась смешно разговаривать по-киргизски. Я не знала местного языка. Произносимые диктором фразы были звонкими, резкими, с многочисленными «ы» и «уу», и я почти ничего не понимала.

— Урматтуу жолдоштор, — говорило радио. — Кыргыз Республикасынын радио мындай деди. Азыр саат алты, он беш минут¹.

Когда из радио раздавался строгий мужской голос, говоривший по-русски, я всегда слушала внимательно. Этот голос передавал главные новости — партийные и правительственные, и они могли касаться приезда Виталика!

Однажды голос предупредил о том, что кого-то «съест КПСС».

— Мамочка, ты слышишь? Съест, — заплакала я.

— Кто кого? — Удивилась мама. — Серый волк — глупую Танечку?

А разобравшись, она долго смеялась.

— Это же съезд, глупышка, понимаешь — съезд! На съездах никого не едят, на них принимают решения, очень важные для страны.

Я регулярно слушала радио, чтобы не пропустить самое «важное решение», но все равно прослушала. Виталик явился неожиданно, хоть и предсказуемо, как Дед Мороз — на елку в садик. Но именно в тот момент, когда он, улыбаясь и немного смущаясь от встречи с незнакомым ребенком, вместе с мамой вошел в нашу комнату, я ни капельки не ожидала его увидеть.

Виталик был молодой, красивый и синеглазый. И веселый. Мы почти сразу подружились. Виталик сидел на казенной кровати, к которой придвинули стол с ужином, а я ползала за его спиной и баловалась: натянула ему на лицо ворот спортивной куртки и застегивала молнию так, чтобы ворот закрывал нос и рот.

— Таня, ты Виталику кушать мешаешь! Немедленно прекрати, — сердилась мама.

А Виталик вдруг протянул назад руку, схватил меня крепко-крепко, вытащил из-за спины и на колени к себе посадил.

— А ну-ка ешь, — велел он. — А то вон какая худышка — червячок!

И я послушно съела все, даже невкусную котлету с макаронами. Ну, разве могут быть вкусными котлета и макароны? Или какая-нибудь манная каша? Она попросту не бывает без комков.

Виталик переехал к нам не сразу. Сначала он жил этажом ниже, в квартире с несемейными командированными. Я уже не смогу сказать с точностью, когда мы, наконец, стали настоящей семьей.

Вместе с Виталиком к нам переехала его семиструнная гитара.

К гитаре Виталик относился ревниво, никому не давал ее в руки. Гитара была для Виталика отнюдь не средством скоротать досуг. То был священный инструмент, самый близкий друг, частичка души...

Чтобы получить вторую комнату, нам пришлось перебраться в другой подъезд, где нашими соседями стали тетя Генриетта и Тишка.

Тетя Генриетта не говорила, а *вещала*, как радиоточка, — визгливо, пронзительно. Уж на что голос тети Вали был громким и резким — а теперь нам казалось, что прежде мы жили в безупречной тишине! Да и шутливой Тишка отличался от замкнутого Генки.

¹ «Здравствуйте, товарищи. Говорит радио республики Киргизия. Сейчас восемь часов пятнадцать минут» (кирг.).

Когда соседи входили в квартиру, дверь грохала так, будто стреляли из пушки.

— Ну, что? — горланила теть Генриетта, обращаясь к сыну. — Чайку?

— Тийку, тийку! — по-сорочьи верещал Тишка.

Однако все притираются, рано или поздно, — и мы привыкли к тете Генриетте с Тишкой.

Тогда уже в наш двор ходил Витька. Его родители развелись, и Витька достался бабушке, миловидной веснушчатой женщине, работавшей билетершей в ДК. Витькина бабушка была блокадным ребенком, ее в войну эвакуировали из Ленинграда по Дороге Жизни.

Летним вечером очередная летучая мышь вцепилась в мои волосы, захватив толстую прядь. Дрожа от непереносимого гадливого чувства, я прибежала домой.

— Жалко волос, — огорченно говорил Виталик, щелкая ножницами, — ну ничего, отрастут.

Он отстриг эту прядь, обернув летучую мышь краешком ватного одеяла, а потом одеяло вместе с тварью было вывешено за окно.

— В одеяло вцепилась, теперь до утра не отвалится, — объяснил Виталик.

Летучая мышь всю ночь провисела на фоне красного одеяла, похожего на красный флаг. Только герб получился странный...

Меня уложили спать. Лежа за ширмой, я слушала разговоры взрослых.

— ...Был в командировке, — рассказывал Виталик маме. — Ночевал в гостинице в номере на двоих. Форточки мы открывали настежь — из-за жары. И кто только ни слетался в нашу комнату...

Я дремала, покачиваясь на невидимых волнах.

— Ночью просыпаюсь и вижу: стоит надо мной этот казах и машет руками.

Меня сладко укачивало, а потом вдруг толкнуло, я полетела с обрыва — и упала на свою кровать, в комнате, где приглушенно звучал баритон:

— Я схватил его, завернул в кухонное полотенце и выбросил в окно.

Опять покачивание — и погружение в вязущую темноту.

— ...До сих пор там летает.

Какой Виталик храбрый, думала я, засыпая. Не побоялся страшного казаха, который махал на него руками — схватил его и выбросил в окно!

Летучий казах стал персонажем моих детских кошмаров. Но под конец в этих кошмарах обязательно появлялся Виталик с полотенцем — и бесстрашно прогонял казаха.

Теперь, когда меня задирали, я злорадно говорила:

— Только тронь — я Виталику скажу!

Вскоре каждый в поселке знал, что у меня новый папа, который по утрам бегает по парку и подтягивается на турнике. А еще он начальник на заводе, и отцы других ребят у него в подчинении.

Виталик мог защитить от кого угодно.

В первую очередь он заставил себя слушаться.

— ...Таня, почему ты не убираешь со стола посуду, не относишь на кухню? — интересовался Виталик после ужина.

— А что, я должна убирать? — удивлялась я.

— Ах, не должна? Тогда извини, — Виталик вскакивал с места и, открыв дверь, требовательно звал кого-то, мне невидимого: — Эй, слуги! Плебеи! Ну-ка быстро убирайте со стола!

Никто не бежал на его зов...

Кое-как собрав посуду, составив тарелки пирамидкой, я волоклась на кухню. Верхняя тарелка, соскользнув на пол, разбивалась... Я втягивала голову в плечи. Но

Виталик не ругался. Помогал собирать осколки, приободрял: ничего, подрастешь — станешь аккуратнее, ловчее... зато уже делаешь что-то сама, помогаешь маме.

Мне было приятно, что «я помогаю».

И все-таки не удавалось быть «шелковой» всегда!

Однажды тетя Генриетта хватилась своих спичек, забытых ею на окне. Мы с Генкой стали первыми подозреваемыми, и тетя Генриетта наябедничала нашим мамам.

Нас разыскали на свалке: тайник выдал тоненький дымок. Генка попытался удрать, но ушел недалеко. У родного подъезда его молча приняла в объятия суровая мать и поволокла домой. Вскоре двор огласился Генкиным ревом, сквозь который, как сквозь щели картонного домика, пробивался спокойный жесткий голос тети Вали: «Вот так тебе! Посмей еще только! Всегда буду бить, больно-пребольно!»...

Виталик, впустив меня в прихожую, куда-то ушел. Мама, с вертикальной складкой меж бровей, молча указала на дверь комнаты. Я вошла и тихонько закрыла за собой дверь.

Ждать пришлось недолго. Вскоре на лестнице и в прихожей послышались тяжелые шаги, и в комнате появился Виталик в сопровождении участкового-грузина. Участковый взял меня за руку и, не говоря ни слова, куда-то повел.

Во дворе стоял милицейский мотоцикл с коляской. Мы с Генкой всегда мечтали прокатиться в ней. Никак не думала, что буду размазывать слезы по лицу, когда меня посадят в эту коляску.

Из дежурки на первом этаже высунулась техничка тетя Маша:

— Чаво это? Куда ты ее, милай?

— За кражу и поджог, — сурово отвечал участковый, — эта девочка будет сидеть в турме.

Тетя Маша тихонько ахнула. В окне, скрываясь за выцветшей занавеской, маячил Генка. Ему было и интересно, куда меня увозят, и страшно: вдруг и его заберут...

Мотоцикл стартанул, сорвавшись с места, и мои слезы потонули в облаке выхлопа и громыхания мотора. Участковый дважды обвез меня вокруг поселка, и всю дорогу я редела, просила прощения и клялась, что «больше так не буду».

Слезы высохли сами собой, когда мотоцикл снова остановился во дворе.

В квартире все ждали. Тетя Генриетта на кухне чиркала спичками, собираясь прикурить, но при нашем появлении спрятала их. Мама и Виталик вышли из комнаты, как будто все это время стояли за дверью. Тишка в спущенных шортах выглянул из туалета.

— Ваша дочь раскаялась, — объявил участковый, обращаясь к Виталику. — Она будет послушной. Берегите ее.

— Спасибо, Георгий Вахтангович, — серьезно произнес Виталик.

И тут — показалось мне или нет? — во взгляде участкового промелькнуло что-то живое, смешливое. Он пожал руку моему отцу, нарочито-сурово взглянул на меня и быстро вышел.

Генка постоянно толкся у нас. Приходил к нам и бегал в уличных ботинках по кровати, по чистому покрывалу, пока его не выпроваживала моя мама. В день моего рождения, четвертого сентября, Генка являлся первым. Угрюмо вручал мне подарок, и вместо поздравлений спрашивал: «А пельмени будут?»

Все знали, что Генка обожает пельмени. Конечно, это были не сегодняшние магазинные полуфабрикаты, а настоящие шедевры кулинарии: дышащие паром, с нежнейшим фаршем из трех сортов мяса, щедро наперченные. Моя мама готовила пельмени по праздникам, и тетя Валя их тоже лепила — «аж дважды в год».

Если пельменей не оказывалось, Генка мрачнел. Он садился за стол вместе со всеми, ел много, но механически. Когда ему задавали какой-то вопрос, мог нахамить: «Что пристали? Плевал я на ваш день рождения! Ничо не надо! Сами жрите!»

Он лупил меня, отбирал подарок и уходил домой. «Геннадий, верни то, что ты съел!» — говорила вслед моя мама, прежде чем захлопывалась дверь. Через несколько минут к нам стучалась тетя Валя, извинялась за сына и возвращала уже в общем-то не радующий подарок...

Но чаще пельмени все же были — и тогда праздники удавались!

Однажды Генка пришел ко мне, когда мама и Виталик были на работе. Наигравшись, мы решили исследовать тумбочку взрослых. Сперва нашли у мамы большую зеленую коробку из-под духов «Эрмитаж», внутри которой, в тряпчатом мешочке с завязками, лежали глянцевые игральные карты. Мы с Генкой разложили их на кровати. Короли, дамы, валеты — все эти нарисованные красавцы выглядели богатыми, счастливыми... и наглыми! Не удержавшись, мы взяли цветные карандаши и пририсовали королям и валетам рожки. Кое-кому «подарили» фингал под глазом. А одной даме — бороду.

Потом мы потеряли интерес к картам и взялись за черную пластмассовую коробку, на крышке которой было написано «Театральный грим». В коробке оказались разноцветные краски, сильно пахнувшие, очень жирные. Целый час мы с Генкой разрисовывали друг друга. У Генки зазеленели веки и посинел нос. Щеки, подбородок и лоб, и даже губы ему я вымазала клоунскими белилами. Генка сделался страшнее, чем вурдалак в няниной сказке. Посмотрев на себя в зеркальце, я испугалась не меньше. Свекольно-красные круги на щеках, алые губы и черные веки превратили меня в настоящую Бабу-ягу!

Мы запихали коробку обратно в тумбочку и побежали умываться. Холодная вода текла из крана тонкой струйкой, горячей воды в доме не было... Мы кое-как затерли свои художества, частично смыв, частично размазав. Остатки грима возле ушей и у корней волос удалось окончательно оттереть только в ближайший банный день.

Следующей на очереди была серая картонная коробочка. В ней лежали маленькие синие коробочки, в которых обычно хранят кольца и другие ювелирные украшения. Но оказались там вовсе не украшения, а непонятного назначения стекляшки, похожие на... глаза! Все они были синие, одни побольше, другие — поменьше; и даже совсем маленький глазик... детский...

Мы с Генкой разглядывали причудливые стекляшки, приставляли к лицу друг друга, а потом рассовали их по карманам и отправились во двор — играть в *альчики*, или в кости.

В этой игре каждый участник выбивает кости противника *битой*, которой служит самая большая кость — прямоугольная, суставная; ее выкрашивают в красный цвет. У каждого есть любимая, «заговоренная» *бита*. Завоеванные чужие *альчики* игрок по правилам присваивает себе.

У лучших поселковых игроков были целые мешки *альчиков*. У нас с Генкой — тоже. В своем дворе мы с успехом заменяли *альчики* пробками и крышечками от бутылок. Но кто сказал, что их нельзя заменять стекляшками?

Игра не успела начаться, как на нас напозла тень. Это был Виталик, вернувшийся с работы раньше времени. Помню, я испугалась, что Виталик станет ругаться, а то и даст ремня за то, что рылась в тумбочке, взяла чужое без спросу. Но Виталик ничего нам с Генкой не сказал — ни тогда, ни потом. Никогда, ничего, совсем.

Виталик был послевоенным ребенком. А послевоенные дети, как и любые дети, стремились все исследовать. Необъятные свалки, подвалы, чердаки, леса, овраги. Места, где хранились до поры нераззорвавшиеся снаряды, тосковали в ожидании

малолетних искателей уцелевшие патроны и бомбы. Потеря глаза у послевоенных мальчишек была почти такой же частой травмой, как у нас — разбитая коленка.

Не забыть мне выражения лица, с которым Виталик смотрел на детей, играющих его глазами протезами...

Спустя пятнадцать лет мой отец попал под машину у самого нашего дома и погиб. Смерть подкралась со стороны правого глаза... того самого, которым мы играли в тот злополучный день...

7. Воздушная тревога

Вскоре Генка подошел в магазине к Виталику и спросил при всем честном народе:

— Дядя Виталья, это правда, что у вас глаз вставной?

Виталик ничего не ответил, только серьезно посмотрел на Генку. Подлелевшая тетя Валя с затрещинами и бранью уволокла Генку домой. А моя мама пошла за ними следом и вызвала тетю Валю на крылечко.

Я не слышала, о чем они говорили. Но в тот же вечер Генка, пунцовый от смущения, пришел к нам пить чай с пирогом, который испекла мама. А тетя Валя, принарядившись, куда-то ушла.

Генка гостил у нас допоздна. Меня уложили спать, когда его увела тетя Валя. Я лежала, ковыряя ногтем известку, и слушала разговоры взрослых.

Мама говорила Виталику:

— Тяжело Валентине, конечно. Она совершенно не умеет создавать уют. Она же детдомовская. Ее мать Вальку, старшую дочку, в детдом сдала, а в пятнадцать лет забрала, чтобы та на семью батрачила. Но Валентина поступила в техникум и ушла от них в общежитие. Ты же знаешь, она отличный чертежник.

— А кто отец Геннадия? — Спросил Виталик.

— Какой-то командированный москвич, женатый. Валя от него забеременела и решила родить. Она рассказывала, как гуляла с коляской и встретила Генкиного отца. Тот подошел, поздоровался... поговорили... в коляску даже не заглянул.

Значит, у Генки тоже есть папа. Но он не играет с ним, не защищает его и не дарит ему игрушек. Он вообще не хочет видеть Генку, а может, думает, что Генки нет на свете...

Что-то теплое подступило к глазам. Я и сама не знала, из-за чего реву, я была беспомощна перед этими слезами и перед пронзительной, ошарашивающей жалостью к другу, который *не нужен своему папе*.

Генка позвонил ровно в одиннадцать. Я вернулась в кабинет после экспертизы, и почти сразу телефон взорвался короткими звонками. Лизавета посмотрела на аппарат, потом на меня, и вышла, чтобы налить в чайник воды.

— Таня, — сказал незнакомый сиплый голос.

— Генка! — отозвалась я. — Вот это сюрприз! Ты откуда?

— Из Перми, — сообщил голос, помолчав.

— А что ты там делаешь?

— Живу.

Исчерпывающе.

Почти все, кого я знала по поселку, уехали оттуда. Одноклассник Нурбек Кендыбаев, которого я подтягивала по арифметике и русскому языку, живет в Париже, женат на француженке алжирского происхождения. Подруга Лариска Коровина, как и я, в Питере, работает на молокозаводе. Витька Шлепак — в Старом Петергофе,

прораб на стройке. Тишка, окончивший школу с золотой медалью, учился и работает в Германии. А Генку занесло в Пермь каким-то ветром. Нормально.

— Как ты меня нашел?

— Через Витьку, он мне твой домашний телефон дал. А там какая-то женщина сообщила рабочий... Тетя Лида, что ли? Я как-то смутился и не спросил.

— Нет, это моя свекровь. Тетя Нина.

— Ясно. У нее голос симпатичный.

Возвращается Лизавета с чайником: прошло минут семь. А я уже знаю о Генке все, в общих чертах. После школы Генка прошел Чечню. Потом лежал в психиатрической больнице. Какой диагноз ему впаяли, остается только гадать; Генка избегал разговора на эту тему. Но последующие лет двадцать он провел в монастыре. Что-то там ремонтировал, строил. Хотел даже обет принять, но потом почему-то отказался от этой затеи.

— ...А ты как? — спросил Генка. — Есть свекровь — значит, ты замужем?

— Да, замужем. У нас двое мальчишек.

Генка, почему-то коротко рассмеявшись, поинтересовался:

— И как они... ничего не поджигают?

— Типун тебе на язык, — осердилась я. — Нет, представь себе, не поджигают!

— Значит, тебе повезло больше, чем моей несчастной маме, — вздохнув, отозвался Генка...

Детьми мы боялись войны. Издалека, продираясь сквозь «железный занавес», перелетая через верхушки гор, до нас долетали отзвуки этой войны, которой пока что не было и в помине.

Излюбленной дворовой игрой считались «войнушки». Взрослые нас наказывали, если слышали это слово. «Война — это не “войнушки”, а трагедия, — сурово говорила мама. — Летом поедешь к бабушке — попроси ее рассказать тебе о войне».

Впрочем, бабулю и просить не надо было: она всегда охотно рассказывала о войне. Словно какая-то ее часть, живая, юная, так и осталась там, на фронте. Я знала, что она в шестнадцать лет убежала из дома и всю войну провела, вытаскивая из-под обстрела и перевязывая бойцов...

Мы с мамой сидели за столом, и она пыталась накормить меня творогом со сметаной.

— Представь, что это мороженое, — твердила мама.

Когда мне делали уколы, мама говорила: «Представь, что ты в гестапо и тебе нельзя выдать товарищей!» Как-то нам с Генкой на пару кололи уколы. Мы заболели воспалением легких, наевшись сосулек, а дорогостоящего антибиотика на каждую попку полагалось по половинке ампулы. Поэтому уколы делили пополам. Нас укладывали рядом поперек процедурной кушетки и поочередно кололи. Генка орал так, что выдувал носом большие прозрачные пузыри. Я же представляла, что уколы нам делают фашисты и я должна не выдать товарищей. Лежа на кушетке, я читала вслух стихи про юного партизана. На Генку действовало. К четвертому уколу он уже только хныкал, а не орал. И косился на меня: почему я не реву, когда имею на это полное право?..

Когда с творогом было покончено, по радио раздался чеканный, жесткий женский голос. Он напомнил другой, всей стране известный голос, поющий: «Светит незнакомая звезда, / Снова мы оторваны от дома...» Под эту песню я всегда представляла строгую военную девушку, шагающую с вещмешком по дороге мимо унылых пейзажей (вроде нашей Свалки) и поющую: «Надежда — мой компас земной»... Я не понимала, что такое «майкомпас земной», и мысленно поправляла певицу: «Майкоп мой земной».

— Граждане, внимание! — четко и звонко произнесла дикторша. — Сегодня в

шестнадцать часов ноль-ноль минут будет объявлена воздушная тревога. Просим вас не покидать своих домов, не выходить на улицу, отключить бытовые электроприборы, закрыть окна и двери...

Закрывайте окна, двери и все щели:
Красная Гитара подходит к городу!

— Мама, ты слышала? — испугалась я. — Тревога!

— Подожди ты, — отмахнулась мама. Она собиралась на завод в какой-то подозрительной спешке. И вскоре ушла, велев мне сидеть дома.

И я сидела и ждала, когда радио вновь заговорит... И вот оно, наконец, загудело, прочихалось, и опять раздался жесткий голос:

— Граждане, внимание! Воздушная тревога... Просим не покидать домов...

Не дослушав, я выбежала из квартиры, оставив настежь открытой входную дверь.

Во дворе никого не было, лишь крутился на одной ноге посреди лужи четырехлетний Генка.

— Бежим, Генка, скорее! — подлетев к нему, закричала я. — Воздушная тревога, ты что, не слышал? Сейчас бомбить начнут!

Глаза, уставившиеся на меня, были большими, растерянными и от страха белыми.

— А мама на полигоне... — заканючил Генка; чувствовалось, что он готов разреветься. — Я без мамы не пойду...

— Что ей сделается на полигоне! — крикнула я. — Там и бомбоубежище, и торпеды, и патроны! Нам самим спастись надо!

Генка, наконец, решился — но куда бежать? Не в горы же. Если начнут бомбить — может, и лавина сойдет... Несколько минут мы метались по двору, потом я сообразила: спрятаться можно в канализационном люке, похожем на ДОТ.

Под нами плескалась мутная пахучая жижа. Мы стояли на узких боковых выступях. Ноги быстро затекли; Генка принялся брюзжать. Он всегда брюзжал, когда ему было неудобно.

— Ладно, пошли отсюда, — сказала я. — Спустимся к озеру.

Дождь усиливался. Мы выбрались из люка и, пригибаясь, как будто нас уже обстреливали, побежали к озеру.

Знакомый забор... Мы протиснулись между столбами и выбрались на пустой и серый *гусиный* пляж. Там, возле ялов, крутился долговязый мальчишка, Юрка Гладких. Я долго думала, что его фамилия — *Глотких*, от слова «глотка». Глотких был нашим старым знакомцем: это он когда-то заманил мелкого Генку в лодку и снял с него штаны. Ему тогда здорово досталось от тети Вали. С тех пор Глотких нас не обижал. Наоборот, изображал из себя этакого старшего брата.

— Привет, мелюзга, — поздоровался он. — Чего вы тут забыли?

— От бомбежки удираем, — наперебой заговорили мы с Генкой. — Воздушная тревога! Наши мамы завод защищают, а мы от фашистов прячемся.

— Значит, нужно вас спрятать? Давайте, лезьте под лодку!

Среди ветхих яликов затесалась пара перевернутых лодок с металлическим корпусом. Под одну из них Глотких запустил нас, мокрых и дрожащих. В носу лодки находился ящик, в который мы забились вдвоем. Теперь не так-то просто было найти нас, даже если бы враги перевернули лодку.

Потянулось время. В тесноте и духоте Генка поскуливал, и вскоре я тоже начала тянуть носом... Наш коварный друг Глотких ушел с берега, докурив папиросу, а мы остались сидеть под лодкой, запертые на веки вечные.

До нас не доносилось никаких звуков, помимо шума возни, который производили мы сами. Над берегом повисла плотная, глубокая тишина. Никто нас не бомбил. Устав

лежать в духоте, мы принялись терпеливо, как черви, выбираться наружу. Это оказалось непросто — но все же вылезли.

Закат окрасил озеро в цвет колотого кирпича.

— А нас, наверное, ищут, — проговорил Генка. И вздохнул, видно, представив тетю Валу с ремнем. Я промолчала. Если бы я сейчас встретила на пляже дикторшу, обладательницу строгого голоса, я бы наговорила ей много нехороших слов...

Мы с Генкой брели по узкой прибрежной полосе, периодически наступая на жирных червей, выползавших из-под земли. Давить червей совершенно не хотелось, и я старалась обходить, но все равно наступала, так их было много.

В этом месте в озеро впадала Караколка. На противоположном берегу пришвартовался корабль. На боку его чернел якорь.

— Это же свастика... фашисты приплыли, — проговорил Генка и испуганно схватил меня за руку.

— Глупости. Фашисты на самолетах прилетят, — возразила я. — Это простой якорь.

Давно минуло «детское» время, когда мы вернулись домой. Сладко спал Тишка. А нас ждали: мамы, тетя Генриетта, тетя Маша и грузин-участковый.

Из-за того, что произошло недоразумение (первым разобравшимся оказался участковый, который за нас и заступился), нам влетело меньше, чем могло.

Моя мама, помимо того, что пережила сильный стресс, еще и обиделась.

— Как ты могла подумать, что тебя бросили? — повторяла она. — Когда это тебя бросали на произвол судьбы? Как тебе не стыдно! Я-то думала, что у меня одаренная девочка, а ты — полоумная!

И — чтобы добить уже окончательно:

— До инфаркта мать доведешь!

Мне было стыдно, что я струсила, «посеяла панику», и страшно от мысли, что и вправду могла довести маму до инфаркта...

8. Школа

Я мечтала о школе, но меня оставили на второй год в подготовительной группе детского сада.

Когда группа в полном составе уходила в первый класс, выяснилось, что мне еще нет шести лет. То есть, шесть должно исполниться в начале сентября, а зачислить в школу пятилетнего ребенка нельзя.

В семейном альбоме сохранилось черно-белое групповое фото. На нем дети, одетые в школьную форму, с одинаковыми портфелями сидят и стоят вокруг меня, дурковатой кудрявой девочки в клетчатом платье, недоуменно прижимающей к себе куклу, которую зачем-то сунула мне в руки заведующая. Видимо, чтобы не обидно было, что я, единственная из всех, не получила новенького портфеля. Но это и так все заметили. Когда же заведующая торжественно произнесла: «А у нас есть еще один подарок — угадайте, кому?» — и подняла над головой большую лупоглазую куклу, завернутую в целлофан и перевязанную бантиком, — одноклассники радостно загалдели: «Это Таньке, Таньке!» И куклу по цепочке, из рук в руки, передали мне.

Еще год просидела в детском саду, уже с другими детьми. Эти ребята как-то не запомнились. И в школе я почему-то оказалась в одном классе не с ними, а с детьми из другого района.

Наш поселок лепился из нескольких «микрорайонов»: *СМУ, Пристань, Завод* (где жили мы), и дальше — какие-то поселковые задворки, имевшие нумерацию:

Тринадцатый и Четырнадцатый... Ребята из разных районов соперничали, дрались, но никогда не ходили «стенка на стенку».

Свой первый учебный день хорошо помню. С толпой незнакомых ребят мы зашли в класс, где стояли парты с откидными крышками. Когда включили раритетный патефон, и, сипя и хрипя, с помехами, но очень громко заиграла незнакомая торжественная музыка — Гимн Советского Союза, и учительница скомандовала: «Встать!», — мы повскакали с мест и грохнули откидными крышками так, будто выстрелило сто пистолетов с пистонами одновременно.

Я оказалась в классе с ребятами из *Пристаней* и *СМУ*. Там же оказался и Витька. Но прошло полгода, прежде чем он привык, что в одном классе с ним дворовая подруга, и перестал меня дичиться.

— Она с Завода! — запальчиво говорили одноклассники, примеряясь: побить-не побить?

— Нет, — возражала им артистичная девочка Лариска, пользующаяся авторитетом среди пристанских ребят, — она из Ленинграда! Не трогайте ее. А то — как дам больно!

У Лариски были синие глаза, вздернутый нос и зубки с прорехой между двумя передними. Мы стали подружками.

В то же время мама решила учить меня музыке. Когда-то, в детстве, она мечтала играть на пианино — но не вышло. Поэтому пианино — черное, реликтовое, какие давно и не производятся — было куплено мне. Мы отправились на прослушивание в музыкальную школу. Я спела песенку, воспроизвела голосом несколько проигранных экзаменатором музыкальных тактов. И меня приняли в школу по классу фортепиано.

Мама потом с удовольствием рассказывала, как из зала вышла важная дама и произнесла: «Там одна девочка — абсолютистка!» (то есть — с абсолютным слухом). Все зашумели, зашевелились — каждый подумал про свою драгоценную, безусловно, талантливую дочь, — и только мама скромно сидела, никак не выдав своего волнения. Зато сколько радости и гордости было у нее, когда выяснилось, что «абсолютистка» — ее девочка!

Я ходила в школу за тридевять земель.

Сама дорога, в действительности, занимала семнадцать минут. Это мне однажды помог выяснить Виталик, когда я вернулась с занятий поздно вечером, а в ответ на вопрос, где была, стала плести про долгий путь. Тогда он схватил меня за руку и вместе со мной дошел до школы, а потом обратно.

Семнадцать минут! Без взрослых мы в это время никак не укладывались. По дороге из школы попадалось столько прекрасного и ужасного: и речка Караколка, которую нужно было переходить по шаткому мосту, и *поляна* — травянистая пустошь с узенькой тропой, ведущей к школьному забору-бастиону. «Вьется белая тонкая нитка / По ковру зеленых полей, — пели мы под аккомпанемент старенького баяниста. — Это тропка от школьной калитки, / Каждый день я шагаю по ней». И эта песенка была о нашей школе, о нашей тропке.

Моя первая учительница Екатерина Алексеевна еще помнила «лампочку Ильича», впервые вспыхнувшую в ее доме, делилась впечатлениями от этого выдающегося события. Она была старая, но энергичная, и с нами не церемонилась. Публично и язвительно обличала каждого, кто написал в тетрадке чепуху или еще как-то опростоволосился.

Однажды учительница расхаживала по классу и заглядывала в наши тетради. Остановилась рядом (я даже сжалась) — и атаковала моего соседа по парте Мишку. Выхватив у него из рук тетрадь, искажая голос, с издевкой прочла:

— *В саду пел зяблика!*

Все захохотали, а Екатерина Алексеевна, треснув тетрадь по голове злополучного Мишку, гаркнула:

— В саду пел *мордва!*

Ребята снова рассмеялись, а я от громкого окрика вздрогнула. Екатерина Алексеевна рассердилась. Мое вздрагивание она сочла притворным, а значит — дерзостью. Протянув руку к моей тетради, сладковато-язвительно спросила:

— А чем нас порадует *самая трусливая?*

И «порадовала» ведь — и ее, и целый класс! В тот момент, когда я вздрогнула, на странице образовалась клякса, накрывшая целое слово...

В октябре меня избрали на почетную должность: *санитар звена*. На каждое *звено*, или ряд, имелось руководство из двух человек. Это были — *звеньевой* и *санитар*. На «высшее руководство» я не тянула, но подготовленная мамой, в учебе уже как-то отличилась — вот и выбрали на должность санитаря. Мама смастерила мне белую сумочку и такую же белую наручную повязку с нашивными красными крестами.

Через несколько дней, стоя в углу, я слушала, как мама жаловалась тете Вале:

— Утром отправила Таню в школу. Надела ей белый фартук, белые гольфы, заплела две косы с белыми бантами. Санитарский нарукавник, сумочка с красным крестом... Как кукла!.. Уроки кончились давно, а ее нет. Тут приходит тетя Маша. «Там, — говорит, — твой *санитар* с Генкой прыгает с дерева в угольную кучу!» Выхожу — идет, красавица: фартук в саже, на сумочке крест оторван, одна коса расплетена, банта нет, коленка разбита, под глазом синяк!..

— С Генкой? — оживилась тетя Валя. — А мать ему пускай стирает, да? Вот всыплю, будет знать!

Вечером мама нашла на мою сумочку новый красный крест. А через неделю меня сняли с почетной должности.

— ...На уроках вертится так, что падает в проход, — расстроенная мама вслух читала запись в моем дневнике. — За поведение переизбрали из санитаров...

— Так, ну-ка, — повернулся ко мне Виталик, — иди в углу постой.

Я послушно отправилась в угол. Постою. Подумаешь... Зато больше не будет санитарской сумочки и противного креста, красного, как учительская пометка в тетради...

9. «Двойка» за дорогу домой

Преждевременная зима повела себя свирепо. Каждое утро мама закутывала меня: шубка, унты, меховая ушанка, пуховые варежки. И каждое утро, подходя к школе, я ледяными непослушными пальцами выколупывала из ноздрей мелкие сосульки.

К седьмому ноября нас приняли в октябрюта. Вскоре меня выгнали из рядов «ленинцев» за безобразное поведение. Позже, конечно, простили: нельзя было портить показатели.

Виталик уехал в командировку, когда на Пристань обрушились невиданные заморозки. Ночью с треском лопнуло стекло в форточке. Мама забила прореху фанеркой от почтового ящика, засунула между рамами подушку, а меня уложила с собой.

Утром мама ушла на завод, а я в школу.

Во время уроков начался сильный снегопад. После занятий мы, как обычно, отправились по домам. Больше всех повезло тем, кого забрали родители, и тем, кто решил отсидеться до вечера в школе. Ни один из рискнувших самостоятельно пуститься в путь через поляну, превратившуюся в сплошное белое поле, не дошел до шоссе. Дети сбивались с тропы и присаживались отдохнуть на свои ранцы, прислоняясь

спинами к высоким сугробам, закрывавшим их от ледяного щиплющего ветра. Через какое-то время они начинали дремать, и снег потихонечку заносил их: сначала по щиколотку, потом по колено, а потом и по грудь...

Моя подруга Лариска в тот день не пришла в школу. Я сидела, прижатая к сугробу, и дремала, завидуя ребятам, которые оказались в гуще снежной бури по двое-трое и которым сейчас было немножко теплее, чем мне.

Мама бегала по заводу, требуя выделить ей казенный автобус.

— Надо забрать из школы детей, — повторяла она, — замерзнут дети!

В ответ она слышала, что нет разрешения начальника гаража, не выделили наряд на бензин...

— Да вы что, как вам не стыдно, ваши же дети погибнут! — закричала мама, разбудив сонного диспетчера. — Неужели ни одного коммуниста на весь гараж?

Наконец, ей удалось вытребовать автобус с водителем Колей. В поселке рассказывали, что когда-то Колина бабка с детьми убежала от мужа-бая через горные хребты в Китай. А Коля, наполовину китаец, наполовину киргиз, вырос и вернулся на родину, уже в СССР.

Мама и Коля собирали по сугробам детей и развозили по домам. Меня нашли одной из первых: я почти добралась до шоссе. Помню, как я удивилась и обрадовалась, когда передо мной прямо из снеговой завесы возникла мама в пуховом платке и ватнике.

Дети плотно набились в автобус, по двое на каждое место. Многие были из СМУ, попадались также пристанские. Мы развезли по домам всех ребят из других районов и вырулили на дорогу, ведущую в наши края. Снег падал уже большими шматами, залепля боковые стекла. Печка пригревала, и совсем не хотелось в холодную квартиру.

Напротив нас с мамой сидела Леночка Ракитина — дочь кагебешника, первая ученица в школе. О дружбе с такой девочкой я не могла и помыслить. Вдруг Леночка наклонилась вперед и тихо произнесла:

— Тетя Лида, Леонид Ильич умер.

— Откуда ты знаешь? — побелев, спросила мама.

— Папе ночью из Москвы позвонили. Я не спала, слышала.

Автобус мчался по Гальюнштрассе, приближаясь к заводу, к нашему холодному дому. Я сидела рядом с окаменевшей мамой и с ужасом смотрела, как по ее щекам дорожками бегут слезы.

Ужинали у тети Вали. Генку уложили спать за простыню-ширму. Взрослые переговаривались тихими голосами.

— ...А как же. Конечно, страшно, — приглушенно говорила мама. — Ведь нас могут отозвать... А что в Ленинграде? Тут хоть свежий воздух, Танька гуляет сколько хочет. А там — ни жилья своего, ни бабушки. Виталик, правда, говорит, что его мама может присматривать. Она по его рассказам очень порядочный человек...

Из-за ширмы послышалось поскуливание.

— Что такое, сынок? — тетя Валя подскочила, заглянула к Генке, наклонилась над кроватью. — Приснилось что-нибудь?

Генка посопел, попыттел немного и произнес горестно и тихо:

— Леонида Ильича жалко.

Наш поселок располагался на территории, где испокон веков жили киргизы. Государственным языком, как и в любой другой союзной республике, был русский. Однако не все ребята из киргизских семей говорили по-русски дома. На уроках это чувствовалось.

В советской школе был распространен такой вид деятельности, как бесплатное репетиторство. Каждый отряд боролся за первенство, а «двоечники» портили показатели, и поэтому к ним домой посылали «отличников» и «хорошистов» (последних у нас почему-то называли «ударниками»).

Однажды я пришла к однокласснику Нурбеку Кендыбаеву, чтобы помочь ему сделать упражнения по арифметике и письму. Нурбек жил в юрте, стоявшей на холме. Вокруг полоскалась степь, перекатывался саксаул, торчали скудные кустики... Что-то грустное и торжественное было в этом просторе и заброшенности. Обособленный мир, первозданная (не сказать — первобытная) жизнь, которая веками оставалась неизменной.

Нурбек встретил меня у входа и пропустил в жилище, где сразу на меня обрушилась волна запахов: прогорклого жира, овчины, пота, свежее испеченных лепешек... В тесноте и полутьме Нурбекова дома кипела жизнь, которую снаружи и не заподозрить; там обитали отец и мать Нурбека, он сам, его старший брат с женой и младенцем, полуслепая бабушка, больной ягненок... Все были заняты, каждый своим делом. Даже бабушка, похожая на высохшую головешку, месила тесто.

Жена Нурбекова брата, у которого было удивительное имя — Талант, сидя на кошме, кормила дитя грудью. Очевидно, стыдливость здесь, в юрте, не присутствовала. Нурбек разложил складную деревянную парту. У меня дома была точно такая же! Моя парта — посреди юрты... Мы сидели на деревянных чурбачках, покрытых овчиной, и разбирали задачку. Нурбек оказался сообразительным. Может, в классе он просто смущался? Вот с письмом — да, у него были трудности. И еще когда Нурбек говорил по-русски, он смешно коверкал слова.

Иногда его звонко, по-птичьи окликала мама, и мой подопечный быстро и весело перебрасывался с ней несколькими фразами на родном языке. Он чем они говорили? После каждой фразы раздавался смех жены Таланта. По тому, как посматривали на меня, и как зарделись щеки и лоб Нурбека, я догадалась: женщины подтрунивали над нами. Нурбек выглядел сердитым. Потом его мать подала мне кусок свежее испеченной лепешки и глиняную посудину с айраном. А сам Нурбек, сложив и убрав свою парту (с уроками мы все же расправились), достал комуз, заиграл и запел мелодичную киргизскую песню. У него был чистый, высокий голос. Он пел, закрыв глаза, а мать с невесткой одобрительно переглядывались.

...Я шла и оглядывалась на юрту, и мальчик, стоявший у выхода, приветливо махал мне вслед...

Когда весна, обжившись, вывела нас из зимней сонливости, Лариске пришла в голову идея: переползти Караколку по трубе.

Через горную речку был проложен хлипкий мостик. Когда мне было четыре года, я умудрилась соскользнуть с него и чудом не разбилась насмерть. Была зима, мостик обледенел, и в одном месте у края образовывал небольшую, но коварную скользкую горку. В перилах недоставало колышков. Я не успела понять, что произошло, почему мои ноги потеряли опору. Моя рука оказалась сообразительней меня и вцепилась в перила. И все замерло. Мама, тетя Инга и Ярек, которые шли за мной, застыли на месте, и стояли так несколько мгновений — и я так же молча висела над пропастью. Не орала, не дрыгалась — тихо висела, держась за перила одной рукой. Мама и тетя Инга пришли в себя одновременно, подскочили ко мне, схватили под мышки и вытащили. «Мама, — спросила я вечером, — а если бы я не ухватилась за перила и упала в речку, ты бы прыгнула мной?» Мама покачала головой: «Если бы ты не зацепилась, по реке бы плыло кровавое месиво. Ты молодец, что среагировала».

Кроме мостика, через Караколку пролегли две толстые трубы, на расстоянии пары метров друг от друга, вдали от пешеходной тропы. Для чего они служили — для

подачи воды или стока канализации — мы понятия не имели. Не знаю, догадался ли кто-то, кроме нас с Лариской, использовать одну из труб в качестве мостика.

Труба была горячей, обжигала попы. Но мы как оседлали ее, так и ползли вперед. Лариска отгалкивалась руками — она была первопроходцем; я обхватила Лариску и держала наши портфели.

По справедливости, мне было тяжелее: удерживать одной рукой два портфеля, набитых только что не колотым кирпичом! Конечно, все закончилось плачевно: я упустила один портфель. И не свой — Ларискин!

На следующее утро в школе обо всем уже было известно. Екатерина Алексеевна отправила меня за мамой.

Дома мне пришлось показывать дневник с двойкой по поведению, с загадочной пометкой учительницы: «За дорогу домой», и рассказывать маме, что я натворила. Я говорила путано и быстро, оправдываясь и выставя Лариску единственной виновницей нашей проделки. Это же она придумала — ползти через реку по трубе! Да вдобавок сгрузила на меня свой портфель, деформированный в результате игры им в мяч, с перемотанной изолентой ручкой. Теперь, после подъема водяным экскаватором со дня Караковки, портфель был и вовсе никуда не годен, тетрадки и учебники размокли, дневник безвозвратно испорчен (за что Лариска в глубине души была мне благодарна).

Мама слушала, нахмурившись, а потом сказала:

— Хорошо, идем.

При виде Екатерины Алексеевны я сразу поняла, что пощады не будет.

— Ваша дочь рассказала, какое у нас случилось ЧП? — строго спросила у мамы учительница.

Мама кивнула:

— Если я правильно поняла, Таня с Ларисой шли из школы через *поляну*, и Таня уронила в лужу Ларисин портфель?

Мама прямо и уверенно смотрела на Екатерину Алексеевну.

Две пары изумленных глаз уставились на нее: Екатерина Алексеевна, на время потерявшая дар речи, и я, осознавшая вдруг, что из моих сбивчивых объяснений мама ничегошеньки не поняла и нарисовала себе наихудшее из того, что могло ей предоставить воображение.

У меня не было намерения врать. Хотя бы в силу бессмысленности этого действия. Но, лепеча оправдания, я всячески избегала таких слов, как «горная речка», «переправа», «труба» и прочих, способных ужаснуть маму. А вот «уронила в воду Ларискин портфель» — это она услышала, и даже представила.

Когда Екатерина Алексеевна наконец открыла рот, мне показалось, что где-то неподалеку взревела оркестровая труба.

— ...Не место в рядах октябрят... Пресечь дружбу со второй девочкой... Ее бабушка обещала, что примет меры...

Я стояла, оглушенная, втянув голову в плечи. Деревянные половицы под ногами покачивались, словно палуба. Бледная мама молча слушала.

Когда мы вышли из школы, мама резко повернулась ко мне. Уверенная, что получу пощечину, я вскинула трясущиеся руки. Но мама сорвала с моего школьного фартука октябрятскую «звездочку».

— Ты ее недостойна, — прохрипела она; даже голос потеряла.

Отвернувшись от меня, она быстро пошла вперед. Всхлипывая, я плелась за ней. По дороге нам попался Юрка *Глотких*. Увидев, что я реву, он ухмыльнулся, но я даже не обратила на него внимания.

Мама шла передо мною, прямая и худая, похожая на школьный флагшток.

10. Мой первый концерт

Следующий учебный год порадовал тем, что в музыкальную школу поступила Лариска. Теперь она тоже обучалась игре на фортепьяно, только я была во втором классе, а она — в подготовительном.

Занятия уже шли вовсю, приемные экзамены закончились, когда в коридоре музыкальной школы появился Нурбек, с мамой и комузом. Я видела их беседующими с заведующей, маленькой и кругленькой Маргаритой Степановной, которую мы между собой фамильярно называли Марго. И мать, и сын очень расстроились, когда заведующая объяснила, что обучение в музыкальной школе платное.

— Советский мальчик — все бесплатный! — настойчиво повторяла мама Нурбека, словно пытаясь убедить Марго, что та неправа. И протестуяще мотала головой. Заведующая только руками разводила: что поделаешь...

А Нурбек вдруг схватил свой комуз, бойко забренчал на нем, запел национальную песню.

— Да, голос-то хороший, — вздохнула Марго, и закивала, словно соглашаясь с мамой Нурбека: не порядок, конечно... — А ты в школьной самодеятельности занимаешься? — обратилась она к Нурбеку.

Тот помотал головой.

— А ты занимайся, — посоветовала Марго. — Наша самодеятельность развита на высоком уровне. И еще, знаешь, — она замялась, — лучше разучивай русские песни. Ваш язык, конечно, красивый, мелодичный, но... все знаменитые певцы в нашей стране поют по-русски.

— А я знаю русская песня! — воскликнул Нурбек.

И он, отложив комуз и вытянувшись в струнку, запел глубоким, хотя и немного деревянным голосом, выстукивая себе ритм ногой:

Красный командир на гражданской войне,
Красный командир на горячем коне,
В бой идёт отряд — командир впереди,
Алый бант горит на груди¹.

— Вот, — оживилась Марго, — эту песню ты и должен спеть в школе на смотре самодеятельности. Ну, мне пора...

И она ушла в свой кабинет, а Нурбек и его мама, потоптавшись, тоже ушли — как говорилось в няниных сказках, не солоно хлебавши...

Приближался областной концерт юных музыкантов. Он должен был состояться в нашем ДК, и в тот же день — повторно, в Михайловке. Я разучивала пьесу Бетховена «Сурок» и «Этюд» Черни.

Лариска пока играла «Чижика-Пыжика». Марго поручила ей читать стишок: «Она лилась концертным залом, / Как льются воды в водоем...»

«Она» — конечно же, музыка.

Марго была не только заведующей, но и скрипачом. Виталик говорил, что скрипка в ее руках «не поет ангельским голосом, а надсадно ревет, как бензопила». При этом Марго была вспыльчива и гневлива.

— Своих учеников я секу розгами, — заявила она на родительском собрании. — Так что от каждой семьи — по возу березовых прутьев. Сдавайте заранее, мне их еще вымачивать.

¹ Из песни Мориса Синельникова «Красный командир».

Разумеется, заведующая шутила. Но те, кому случались увидеть ее рассерженной, старались не допустить повтора.

Лариска, получив задание, на радостях вызубрила свой стишок так, что свободно могла переставлять слова в предложениях и слоги в словах.

Виталик каждый день со мной репетировал.

— Ты должна играть, даже если потолок обвалится или здание загорится, — настраивал меня он.

Ближе к концерту начались репетиции — прямо в концертном зале, чтобы мы «прочувствовали его энергетику, его магнитуку», как говорила Марго.

На первой репетиции я быстро отыграла свою программу, а Лариска прочла — нет, отгарабанила стишок, — и мы покинули зал.

Главной достопримечательностью обветшалого ДК был просторный чердак. Он запирался на замок, который «музыканты» давным-давно разбили и приставили на место, будто он целехонький. Мы бегали по чердаку и гоняли голубей. Тем временем в концертном зале штукатурка с потолка падала на клавиши, и слышны были хохот, клекот и хлопанье крыльев.

Решив вернуться на репетицию, мы стали спускаться по винтовой лестнице. Вдруг дверь зала отворилась, гулко стукнув, в холл пулей вылетела Марго, пересекла открытый пролет и зачем-то понеслась по ступенькам вверх... Мы замерли. Марго бежала, наклонив голову, тяжело, но быстро. Я стояла к ней ближе, и первая получила шлепка, от которого проскакала, как козочка, целый пролет, держась за задницу. А Марго подлетела к Лариске и, схватив ее за плечи и несколько раз хорошенько тряхнув, тоже спустила с лестницы. Лариска заорала дурным голосом (в то время как я перенесла заслуженное молча).

— Вы мне родинку содрали! — Вопила Лариска.

— Так тебе и надо, — запальчиво произнесла Марго. — Потребуется — еще одну сдеру!

— Вы не имеете права! Я нажалуюсь...

Тут Лариска запнулась: ей, сироте, живущей с бабкой, жаловаться было особенно и некому. Марго, очевидно, вспомнила об этом.

— Идите в зал, — проговорила она уже более мирно. — Товарищи слушали ваше выступление — и вы их послушайте. Вперед, бандитки...

И мы под конвоем отправились в зал.

— И учтите, — предупредила Марго, прежде чем запустить нас внутрь, — если я еще вас увижу до концерта, кроме как на сцене, или услышу хоть какой-то шум и, тем более, жалобы на вас... Пеняйте на себя. Поняли?

Мы, потупившись, кивнули.

— Что ж... Предупрежден — значит, вооружен, — резюмировала Марго.

К следующей репетиции я уже могла сыграть свои пьески с закрытыми глазами, а Лариска — прочитать весь стишок, дублируя каждый слог паразитическим, состоящим из согласной «с» и предыдущей гласной: «Онаса лисиласась косонцесертнымсым засалосом, / Касак льюсютсяся слесезысы в восодосоесем»...

Когда все отыграли, отчитали, отпели, уже стемнело. Мы с Лариской спустились во двор. Окна ДК были ярко освещены. Марго и другие преподаватели, покончив с нами, занимались подготовкой к концерту. В последнее время все они были какие-то дерганые.

Во дворе упражнялись в стрельбе мальчишки-«музыканты». Они стреляли из рогатки в круг, нарисованный мелом на стволе дуба. В какой-то момент прямо мне в глаз аккуратно влетел камешек.

Боль была ожогу подобна. Лариска отнимала от лица мою ладошку, пыталась

наильно открыть глаз, вокруг которого расцветал пухлый красноватый ободок, и бормотала:

— Покажь, покажь... Холодное, приложи холодное...

Сдернув с шеи шнурок, на котором болтался ключ от дома, Лариска приложила его к синяку. Ключ приятно охлаждал, умиряя боль. Мальчишки, опустив рогатки, сконфуженно топтались на безопасном расстоянии.

Тут во дворе появился заводской рабочий, знакомый, с красивой фамилией — Нефоростов. С ним у меня был связан смешной случай. Когда мне было четыре года, я допрашивала маму: «Мама, а вы с Виталиком — начальники? А папа Леночки Ракитиной — начальник?» И мама с улыбкой отвечала: «Да, доченька, мы — начальники». Наконец, я спросила, начальник ли Нефоростов, и мама возразила, что он — простой рабочий. Я расплакалась: «Значит, вы все — начальники, а он один работает? Как же он, бедненький, справляется?» И мама, растроганная, утешая меня, мягко говорила, что Нефоростов — слесарь первого разряда, и у него очень хорошая зарплата... и что его тоже обязательно сделают каким-нибудь начальником.

Похоже, мама рассказала Нефоростову тот эпизод: он вступился за меня и отлупил моих обидчиков. Мальчишки сидели на траве, ревели, размазывали грязь с соплями и угрожали, что «все расскажут».

— Кто первый расскажет — мы еще поглядим! — звонко крикнула Лариска.

Обгоняя друг друга, мы все ринулись в ДК и, топоча по лестнице, поднялись на третий этаж и ворвались в кабинет Марго. Там, помимо заведующей, находился длинноволосый преподаватель хорового пения, появившийся в школе недавно. Марго собиралась что-то сказать ему, уже открыла рот, как заметила на пороге нас. Окинув взглядом всех, она уставилась на меня. Брови приподнялись домиком. С трепетом я наблюдала, как *крыша* домика ломается и между бровей заведующей ложится суровая складка.

— Каткова, — накаленным тоном заговорила Марго. — Я тебя предупреждала: если еще раз увижу или услышу...

— Я никого не трогала! — заорала я. — А они — из рогатки, в глаз!

— И мы ее не трогали, — вразной затрубили мальчишки.

— Они Таньке из рогатки в глаз пульнули, — вмешалась Лариска. — Я свидетель!

— Ха! У нас рогаток нет, — злорадно произнес Славка. И развел руками, и вывернул карманы школьных брюк, показывая: нету!

Нефоростов отобрал у них рогатки — и улик теперь не было!

— Она сама себе глаз подбила, — ныли мальчишки.

— Как унтер-офицерская вдова — сама себя высекла? — развеселился длинноволосый преподаватель.

— Нет! Это они! — крикнула я.

— Баста! — завопила вдруг Марго, вскакивая с места. И топнула ногой.

— Каткова! — взревела она. — Катко-ваа!

Лицо заведующей, казалось, вот-вот лопнет, точно переспелый помидор.

— Ты снята с концерта! — выкрикивала Марго, смешно подпрыгивая и гримасничая, багровая от шеи до бровей. — Допрыгалась! И уйди с моих глаз, уйди немедленно, не то меня хватит инфаркт!

Мы попятились, покинули кабинет Марго. Тихо, почти бесшумно спустились по лестнице. Ребята были рады, что наказали только меня. И уходили торопливо, опасаясь, что Марго может передумать, и им перепадет за компанию.

Я не призналась, что меня сняли с концерта. И Виталик продолжал со мной репетировать каждый день...

Тоскуя в ожидании развязки, на переменах болталась с Лариской на заднем дворе школы. Мы лазали в развалюху-сарай с макулатурой и выискивали интересные

картинки в старых книжках. Забирались на яблони и стряхивали друг другу в подол сочную антоновку или кисловатые, еще более вкусные дички.

Однажды встретили там Витьку. Он проспал первый урок и неспешно шел ко второму. У Витьки были спички, и он развел для нас костерок из макулатуры. Первая спичка сломалась, но уже вторая весело пыхнула и передала нетерпеливый огонек бумаге. Мы сидели вокруг огня и грели свои перемазанные землею ладошки.

— Надо бы большой костег летом запалить, — произнес вдруг Витька.

— А где? — Тихонько спросила Лариска.

— Напгимег, на пигсе. Где ялы гниют без пгисмотга, — несколько секунд подумав, ответил Витька. — Там тгава сухая, гогит хогошо, а тушить легко — оzego гядом...

— Точно, — воскликнула я. — Витька, какой ты молодец!

— Возьмем Генку, — размышлял вслух Витька. — А Тишку — бгать, не бгать?..

— Конечно, возьмем, — кивнула я. — А еще — Ярека! Он приедет на лето...

Витька благодушно кивнул:

— Ягека так Ягека.

— И меня, — тихонько попросила Лариска. И уткнулась подбородком в острые коленки.

— А ты не забоишься? — строго спросил Витька.

— Не-а, — Лариска покачала головой, — честное слово!

— Ладно, — добродушно улыбнулся Витька. — Уговогила!

В ДК репетировал хор. Дети пели о том, как «мечтал смычок скрипичный в концертах выступать...» Меня даже из хора изгнали. Зато Лариска пела «второе сопрано», стоя в первом ряду. Я в тоске слонялась по ДК, крутилась возле кабинета Марго... Вдруг простят?

— ...Как же так, сразу двое заболели, — сокрушалась Марго. — У нас и без того мальчишек мало...

Длинноволосый хорист отвечал ей что-то — я разобрала только «бу-бу-бу».

— Думаете? — переспросила Марго. — Что ж, другого выхода, похоже, нет.

И высунувшись в холл, рявкнула:

— Каткова!

Пришлось выходить из-за двери.

— Иди-ка сюда, — поманила Марго. — Придется полагаться на тебя. У меня мальчишки разболелись, а их и так в хоре мало. У тебя голос... — Марго запнулась, но нашла нужное слово: — хулиганский. Споешь за мальчика?

Я поспешно закивала: конечно, спою!

— Вот, это по-нашему, — одобрила заведующая. — Ну, тогда иди, репетиция начинается, — велела она.

Тут-то бы мне и взмолиться: дорогая Маргарита Степановна, позвольте мне сыграть!.. Но я ничего не сказала, а молча протопала на сцену, где Лариска встретила меня удивленным возгласом: как, Танька, и ты будешь петь?.. И было непонятно, обрадована она или огорчена.

Музыканты не ударили в грязь лицом: после каждого номера зрители подолгу аплодировали. И только мама с Виталиком, сидевшие во втором ряду с Ларискиной бабушкой, все больше мрачнели по мере того, как программа близилась к завершению.

Когда все отыграли, на сцену поднялся хор. Мы ладно спели — и я пела, мальчишеским хулиганским голосом. И даже солировала отдельные фразы.

Потом Лариска выдвинулась из хора и с чувством прочла:

— Онаса лисиласась косонцесертнымсым засалосом, касак льюсютсясы слесезысы в восодосоесем...

Тут она испуганно ойкнула и закрыла рот ладошкой.

Из зала донесся радостный шум, мальчишки захохотали, а Ларискина бабушка посуровела.

Лариска покраснела и начала заново:

Она лилась концертным залом,
Как льются воды в водоём,
И трогательно рассказала,
Как мы творим и как живём...¹

На этот раз ей дружно хлопали все, даже мои грустные родители.

Когда опустился занавес, времени на объяснения не осталось. «Меня сняли с концерта... Я больше не буду...» — «Да-а, мы уже поняли... Дома поговорим!» Нас загоняли в автобус. Я видела, как расстроенная мама подошла к Марго, и та, жестикулируя, принялась ей что-то объяснять. Мы с Лариской сидели в автобусе на заднем сидении и, болтая ногами, поедали булочки, которые нам раздали в дорогу — *сухпак*.

После того как тайное вылезло наружу, я перестала трусить и повеселела. Автобус по тряской дороге привез нас в Михайловку. Там был свой Дворец культуры, даже побольше нашего.

— ...Зал — битком, — оживленно говорила Марго, и глаза ее лихорадочно блестели. — Не подведут ли дети?

— За хор не беспокойтесь, — отвечал длинноволосый хорист.

Пока другие, выбравшись из автобуса, осматривались по сторонам, мы с Лариской уже нашли кое-что. А именно — ручеек. По бережку его росла чуть тронутая изморозью ярко-красная ягода. Нас учили, что нельзя есть незнакомые дикорастущие ягоды. Однако мы их ели постоянно. И — почти никаких последствий...

Потянувшись к кусту, Лариска потеряла равновесие и, заорав, ухватила меня за руку и потащила за собой.

Мы были нарядными, оживленными, разгоряченными. И искупались в ледяном ручье перед самым концертом.

Марго рыдала, размазывая слезы вместе с тушью. Молодая учительница музыки и еще какая-то тетка деловито растирали нас ветошью, принесенной из ДК. Хоть мальчишек и отгоняли от автобуса, ставшего нашим «карантином», они все равно заглядывали в окна и гримасничали.

Мы с Лариской сидели в одних трусах, и чужие женщины растирали нас сухими и жесткими тряпками, а потом переодевали в клубный реквизит для спектаклей. Лариске достались бальное платье и сапожки с оторочкой из искусственного меха, а мне — костюм Кота в сапогах: блузка, жилетка, шаровары и сапоги-ботфорты. Мы с интересом осматривали себя и друг друга.

Пока Марго плакала, ждали: что последует? Но вот она достала из сумочки пудреницу, заглянула в зеркальце, провела по носу и под глазами бархоткой, и ее лицо снова приобрело волевое выражение. Подойдя к нам, Марго произнесла сухо и официально:

— Из автобуса ни шагу! Когда вернемся, я доложу о вашем безобразном поведении директору общеобразовательной школы.

Мы зашмыгали носами.

— Не смейте реветь, лживые девчонки! — рявкнула Марго. — Я не верю вашим слезам ни на копейку!

И все они ушли, только водитель остался — видимо, за нами присматривать. Правда, когда мы удирали из автобуса, он даже ухом не повел.

¹ Фрагмент стихотворения Александра Чуркина, написанного в 1934 году.

Как преступников на место происшествия, нас тянуло в концертный зал. Туда, где выступали наши ребята и где находилась суровая, измученная нами Марго. Наконец, мы нашли дорогу за кулисы.

Концерт заканчивался. До нас донеслись бодрые звуки рояля, а потом запел хор...

Мы с Лариской подобрались вплотную к красному занавесу и тихонько слушали. Ребята пели так хорошо, так слаженно!.. Перехватив взгляд Лариски, я поняла: ей тоже завидно. И — она снова что-то задумала.

— Ну, пощиплем их? За жопы, — свистящим шепотом произнесла Лариска. — Ты — с того конца! — И она бесшумно метнулась к левому краю сцены.

Я шмыгнула на «правый фланг». Оказавшись там, ощупала бархатный занавес, нашла живое и плотное — и ущипнула. Раздался короткий удивленный вскрик. И тут же с «левого фланга» пискляво отозвалось: «Ой-ой!»

Мы с Лариской устремились навстречу друг другу, нащупывая чужие попы и благословляя их крепкими щипками. А хористы, стоявшие в ряду, поочередно охали и подпрыгивали, вызывая смятение на сцене и гогот в зале.

Наконец добрались до центра хоровой экспозиции. Там стояла сама Марго, исполнявшая мою партию (мальчишескую, «хулиганскую»). Ее мы ущипнули одновременно с двух сторон. Марго басовито вскрикнула, сунула руки в портьерную щель, расположенную как раз за ее спиной, и выволокла нас с Лариской, одетых в сценические костюмы.

В зале загремели аплодисменты. Зрители вскакивали с мест, кричали, топали и хлопали, а Марго, красная от ярости, через всю сцену тащила нас к выходу, держа за шкирки, как котят.

Повезло, что нас не выдрали прямо в зале. Хорошая выдержка оказалась у заведующей. И еще она почему-то не наябедничала на нас — ни родителям, ни директорше общеобразовательной школы...

11. В ожидании лета

Зимой главной радостью был каток. Его заливали на пустыре у холма, на котором стояли наше и Дворянское общежития. Сначала приезжала машина с бочкой. Из салона вылезал заводской рабочий, разматывал шланг и крепко держал его, направляя тугую струю воды на тот или иной участок предварительно расчищенного пустыря. Второй рабочий следил за напором. Морозец схватывал политую землю довольно быстро, и она покрывалась плотной ледяной корочкой. Тогда к работе подключались дети. Пока лед не затвердел, они спешили его выровнять, сточить лопатами комки.

Каждый день каток нужно было приводить в порядок: подметать лед вениками, расчищать свежий снег, заливать водой облысевшие участки, и даже — адская пытка! — выдирать окостеневшими пальцами из прорех во льду пожухлую, но живучую травку. Дети приходили на «субботники». Тунейцев не допускали к вечерним катаниям. Любителей покататься за чужой счет на входе ожидали железная рука и суровый голос активиста, сообщавший:

— Не убирался — иди гуляй!

И неудачники, действительно, отправлялись гулять. Пешком...

В новогодний вечер мы с Генкой возвращались с катка. На ногах были коньки, и мы шли, переставляя ноги «елочкой».

В Дворянском общежитии на первом этаже обитал наш враг Герцог. Поравнявшись с его окном, мы заглянули в комнату. Хозяин был дома. Он только что включил телевизор. На экране шли помехи, и Герцог крутил тумблер, пытаясь настроить канал. Посреди комнаты стоял накрытый стол с шампанским, разноцветной

посудой и тортом. В углу пристроилась наряженная елочка. Занавеска была отдернута, форточка открыта: комната проветривалась...

За Дворянским, в темном парке (мама говорила, что там водится Дикий Вепрь Ы), валялись рубленые еловые ветки. Мы выбрали подходящую по размеру ветку, соорудили из нее «елку» и принялись «наряжать»: проволокой прикрутили к лапам шишки, завернутые в блестящую мишуру, разбросанную повсюду. Дивно смотрелись комья окровавленной ваты, которой мы набрали возле подвала, украшенного вывеской: «Зубоврачебный кабинет». С тех пор как над подвалом появилась эта вывеска, оттуда постоянно слышался зудящий звук бормашины, а у входа валялась вата. Цепь из туалета сошла за гирлянду, а на верхушку мы торжественно водрузили дохлого нетопыря. После чего наше сооружение было аккуратно, почти бесшумно, просунуто в форточку Герцога — и со свистом влетело в комнату.

Раздался грохот (что-то упало) и звон (что-то разбилось). А потом наступила тишина.

Мы с Генкой замерли, скрючившись под окном. Несколько минут показались бесконечными. А потом...

Дверь подъезда с грохотом отворилась, и появился Герцог в мокрой и грязной рубашке, с нашей «елкой» в вытянутой руке. Он крутил головой, высматривая нас. На его лице была только слепая, энергичная злоба.

Герцог стоял под фонарем, а мы сидели во тьме. Разглядеть ничего он не мог. Но страх сорвал нас с места.

Мы с Генкой ринулись бежать, на коньках, как и были. За общежитием, теряясь среди черных кустов, проходила канава. Мы спрыгнули в канаву и поползли попластунски.

На весь парк разносился скрежет — мы задевали коньками проложенные трубы, а над канавой, словно военный прожектор, блуждал луч карманного фонарика. Это Герцог разыскивал двоих несчастных нашкодивших детей!

Но все-таки луч отстал от нас, заблудился в парке. Мы оказались возле почты с освещенными окнами. Почтальонша тетя Нина и ее дочка Маринка часто засиживались там допоздна.

Когда мы вошли, с трудом отворив примерзшую дверь, тетя Нина деловито сортировала бандероли. Нам она хмуρο кивнула. Маринка, вялая и скучная, скособочившись, сидела за столом, на котором стояли в ряд чернильницы и валялись пустые бланки. Перед нею лежало печенье в обертке, но Маринка его не грызла. На нас с Генкой Маринка даже не взглянула.

— Чего это она? — поинтересовался Генка у почтальонши. — Двойку схлопотала?

— Хворает, — отозвалась тетя Нина.

— А чем? — задала я вопрос из вежливости.

— Башка болит, — тихо пожаловалась Маринка, не поднимая глаз от столешницы.

— Кажись, скарлатина, — равнодушно сказала тетя Нина.

— А зачем вы ее больную сюда привели? — по-взрослому строго спросила я.

— Дома оставить не с кем, — объяснила тетя Нина, не глядя на нас, продолжая возиться с бандеролями.

Мы с Генкой испугались скарлатины еще больше, чем Герцога. Но сразу уйти было неловко. Потому и топтались, грея о батарею свои пятые точки.

— А вы помните стих Багрицкого, тетя Нина? — спросила я. — Там еще девочка от скарлатины умерла.

И с чувством прочитала:

Тоньше паутины
Из-под кожи щёк
Глеет скарлатины
Смертный огонёк...

Маринка оживилась, в глазах ее появился интерес.

Тетя Нина оторвалась от своего занятия и впервые посмотрела на меня. Глаза у нее были незлые, но и не добрые, а какие-то пустые и равнодушные.

— Шли бы вы, ребятки, домой, — посоветовала она.

И мы попрощались и ушли. У своего дома остановились, тревожно глянули друг на друга.

— Слушай, Танька, — хмуро проговорил Генка, — если он тебя заметил, ты только меня не выдавай.

— Хорошо. А ты — меня.

— Нашла чего просить, — Генка хмыкнул. — Я друзей не предаю. А вообще — нет, не разглядел он нас. Да нас у Дворянского и не было!

— Конечно. Нас там не было!

Успокоенные, повеселевшие, мы отправились встречать 1984 год.

Зима измотала. Долго болел Генка, заразившийся от Маринки скарлатиной. Ту же хворобу поначалу заподозрили и у меня, когда я свалилась после Нового года. Но приехавшая по вызову молодая докторша сказала, что это бронхит, однако нужно колоть антибиотики, поэтому мне придется лечь в больницу.

Судя по рассказам друзей, больница была местом таинственным и романтичным, где круглосуточно совершались отчаянные проделки. К тому же там валялся Генка. Так что я почти весело собиралась в «казенный дом». Взяла с собой плюшевого медвежонка, новогодний подарок тети Леры, и пару любимых книжек.

В больничной палате уже лежали три девочки, знакомые по школе. Как только я переступила порог, они обернулись.

— Гля, девки, — полушепотом проговорила первая, низенькая и коротконогая, — пришла мелюзга!

— Сама мелюзга, — выпалила я. И крепче прижала к себе медвежонка.

Вторая и третья девочки расхохотались, а первая продолжала в той же тональности:

— Видала я, как тебя мать купает в детской ванночке! Мелюзга!

Действительно, у нас дома был большой пластмассовый таз, размером с ванночку. Когда мы шли в баню, мама тащила этот тазик. Наполнив его горячей водой, мама взбивала в тазике пену, и я с наслаждением плескалась. У нас были ленинградские шампуни: пенистые, душистые; поселчане мылись хозяйственным мылом. В бане мы встречали тетю Валю с Генкой. Это было в порядке вещей: женщины «без мужиков» брали маленьких сыновей с собой в баню. Не навяжешь же своего ребенка на помывку чужому дяде. Генка преспокойно шествовал через зал со своим писюном, с шайкой в руках, занимал очередь у крана с горячей водой, наполнял и оттаскивал тазик матери, потом возвращался и снова набирал воду — уже для себя. На меня он смотрел без особого интереса, правда, завистливо: у него не было чудесной ванночки, а у меня была... Восьмилетних детей в поселке не купали мамы, это было не принято. А меня мама купала...

Но мне впервые стало за это стыдно.

Девчонкой, обозвавшей меня, была Шаволдина из 3«Б». Еще в первом классе она начала меня терроризировать. Однажды подошла на перемене и нагло спросила: «Эй, длинная, у тебя папка в Ленинград ездит?» — «Да, ездит, а тебе какое дело?» Шаволдина глянула так, что мне сделалось не по себе. «Когда поедет в следующий раз, накажи, чтобы привез тебе фломастеры, — велела она. — Отдашь их мне. Да смотри, чтобы был фиолетовый! А не то...» — «А то что? Ну?» — спросила я с вызовом, но голос подвел, сорвался, и я почти пискнула. «Раздери тебе жопу на немецкий крест», — жестко отвечала Шаволдина. Я вспотела, сердце заколотилось так, что трудно стало дышать. Дикая угроза напугала больше, чем просто «набью морду»... Едва Шаволдина отвалила, ко мне подскочила Лариска: «Зачем ты с этой свиньей разговариваешь? Она же

колышница! От нее плохо пахнет!» — «Да так... Спросила, нет ли фломастеров лишних», — промямлила я и отвернулась.

Содержание разговора с Шаволдиной я постыдилась передать Лариске. Еще стыдней было вспоминать, как я потом долго вымогала у папы новые фломастеры.

Воспоминание об унижении всколыхнуло ярость, которой в этой палате никто не ждал.

— Хочешь детскую ванночку? Ладно, подарю, — проговорила я насмешливо. — Может, подмываться научишься.

И двинула к единственной свободной кровати у окна, по дороге демонстративно задев ногой авоську Шаволдиной, стоявшую в проходе. Подруги Шаволдиной непочтительно фыркнули, но тут же спохватились: Шаволдина все-таки своя, а я — чужая.

Вторая девчонка, белобрысая Чапова, произнесла с вызовом:

— Свою запеканку в полдник нам отдашь!

Требование прозвучало недостаточно свирепо для того, чтобы я с готовностью кинулась его выполнять.

— Ага! Догоню и еще раз отдам! — огрызнулась я.

Девчонки пошушукались и, сговорившись, решили больше меня не цеплять.

Генку я видела мельком: он был совсем вялый, из палаты ползал в процедурную. Так что я оказалась в одиночестве.

Погрустила с полчаса. Потом температура поднялась. И продержалась до позднего вечера. Третья соседка по палате, толстая Коклюшкина, тоже чувствовала себя совсем неважно. Кончилось дело тем, что нам поставили капельницы.

Я лежала с иголкой в руке и читала «Момо» Михаэля Энде. Коклюшкина под капельницей от скуки на стенку лезла. Когда Шаволдина с Чаповой после ужина куда-то убежали, эта несчастная попыталась со мной заговорить:

— Слышь, ты... Зачем зубную щетку и пасту с собой принесла? Надолго тебя ложут?

— Нет. Но зубы надо чистить каждый день, — объяснила я.

— Ы-ы-ы... Дура, — засмеялась Коклюшкина. — Они же так все выпадут... А че читаешь? Тебе это задали?..

— Просто читать люблю.

— Совсем дура, — вздохнула Коклюшкина. И уяснив для себя, что новая соседка — с приветом, отвернулась и принялась ковырять ногтем известку на стене.

Вскоре явилась Шаволдина. Она направилась к моей кровати и, подойдя, нерешительно остановилась. Постояв, начала чесаться. От нее резко пахло. Платье и кофту Шаволдиной не стирали с осени, голову она не мыла по меньшей мере месяц. Мне совсем не хотелось ее общества.

— Че зыришь? — на доступном Шаволдиной сленге обратилась к ней я. — Че надо?

Шаволдина улыбнулась с неожиданным дружелюбием.

— Это... Ты капельницу заберешь, когда ее с тебя снимут? — Поинтересовалась она.

— Что-что?

— Ну, капельницу — трубочку и все прочее. Медсестры все это выкидывают, но нам разрешают взять. Все, кроме иголки.

Оказывается, я могу забрать себе трубку от капельницы, вынутой из моей вены. Но зачем?

— Ты будешь делать из капельницы чертика или рыбку? — Терпеливо спросила Шаволдина.

Я пожала плечами.

— Не умеешь, что ли? — поразила Шаволдина. И не дожидаясь ответа, предложила: — Хочешь, я тебя научу?

— Научи, — без особого энтузиазма согласилась я.

— Тогда сегодня после отбоя?

Я кивнула. Шаволдина полезла под свитер и стала чесаться там. Запах сделался невыносимым. Мне хотелось, чтобы Шаволдина поскорее ушла в свой угол.

— У меня песий лишай, — вдруг сообщила Шаволдина. — Как обострится, так мыться нельзя. Меня дегтем мажут...

Я не знала, что на это ответить, и вообще не имела представления о том, что такое «песий лишай». Поэтому ничего не ответила.

— Лишай... песий, — повторила Шаволдина. — Дегтем мажут...

И не дождавшись моей реакции, побрела прочь.

Поздней бессонной ночью я под руководством Шаволдиной мастерила чертика из капельницы. Получился, что ни говори, симпатичный чертёнок! У него были глазки-колесики, клювик-нос и кудрявые патлы-волосы. Коклюшкина, явно стараясь угодить мне, причудливо раскрасила его фукорцином и зеленкой.

— Красивеньки-ий! Повесь на настольную лампу, — посоветовала Чапова. — У тебя дома есть настольная лампа?

— У нее все есть. Даже фломастеры, — произнесла Шаволдина так, будто хвасталась моими достижениями.

Что ж, я завоевала авторитет в палате. Впрочем, мне он не пригодился: наутро прибежала мама, перенесшая бессонную ночь, и забрала меня домой «под свою ответственность».

— Нечего тут тебе делать, — говорила она, запихивая мои вещи в сумку. — Дома даже стены лечат!

Действительно, дома я быстро поправилась.

В ту же зиму мы с мамой и Виталиком получили отдельную квартиру. Вернее, остались в нашей квартире одни. Тетя Генриетта вышла замуж и, взяв Тишку, переехала к рабочему Нефоростову.

Вскоре я услышала, как мама говорила Виталику:

— Теперь бы нам Валентину замуж выдать.

И я замерла, переживая, переваривая в себе тайну, которую не рассказала никому... Однажды я подглядела, как тетя Валя целовалась на крыльце с мужчиной. Она, растрепанная и дикая, обнимала его, и оба медленно и осторожно переступали ногами, как будто исполняли неуклюжий танец. Потом он ее отпустил, и ее руки тоже упали вдоль тела — и мужчина, посмеиваясь и бормоча, красный и взъерошенный, начал отступать, спускаясь по ступенькам. Но она вдруг рванулась к нему — и он взбежал на крыльцо, схватил ее за плечи, впился в полураскрытые губы, и она повисла у него на руках, прикрыв глаза и запрокинув голову... А потом, словно проснувшись, и сама начала его целовать и целовать...

Неужели у Генки появится папа? Но — нет... Не срослось у них что-то там.

Мы заняли комнатку тети Генриетты и Тишки, перенесли туда свои вещи. Подселать к нам никого не собирались, но лишнюю кровать оставили. Эта комната пустовала в ожидании гостей.

На кухне стало просторно. Исчезла одна из двух электрических плиток, Генриеттина. Пришли завхоз с помощником-татаринном, забрали лишний стол. Мама передвинула наш столик на освободившееся место. Теперь за ним могли сидеть четыре человека. Стол покрыли яркой клеенкой, а подоконник украсили горшками с цветущими бобами и фасолью.

Кухня превратилась в уютную столовую. Теперь там не курили, а с комфортом ужинали.

А потом — весна спустилась с гор золотым потоком. Исцелила больных, примирила враждующих, взбодрила угрюмых.

Меня постоянно рапирало веселье. Однажды, собираясь в школу, я увидала свое отражение в зеркале, встроенном в дверку шкафа. На меня удивленно смотрела высокая смуглая девочка с длинными косами. Я разглядывала себя, словно это был кто-то другой. И вдруг радость выплеснулась — и я запрыгала, заплясала, заорала:

— Ура-а-а! Я выросла! Я выросла-а-а!

А мама молча смотрела на меня и улыбалась.

«Мама тоже радуется, что я, наконец, выросла», — подумала я...

На школьных переменах мы с Лариской валялись на траве, слушая дрожь земли и гул, идущий из ее недр. Где-то далеко чабаны перегоняли стада баранов. Колхозники готовили землю для будущих посевов. Терзали земную плоть турбины и экскаваторы. А мы жадно вслушивались, пытались разобрать в общем гуле отдельные звуки.

Запах земли весной становится особенным. В воздухе витает гормон счастья. В восемь лет я была счастлива, как никогда потом.

12. Счастье накануне грозы

У завода имелся свой прогулочный катерок. Он ходил на дальние пляжи, которые назывались Кайсара и Сухой Хребет.

Вот я стою на корме катера и наблюдаю, как водолаз дядя Савва — пузатый, с тяжелым подбородком и носом — снаряжается для подводного погружения. Надевает гидрокостюм, ласты и маску. На спину навешивает баллоны с кислородом. На поясе — нож и пистолет-гарпун. Напяливает водолазный шлем, в рот вставляет трубку... Я смотрю с восторгом и завистью.

Дядя Савва разминается, топчется на корме. Потом прыгает, неловко плюхается в воду, с брызгами и грохотом. Выныривает, отфыркивается. И саженками плывет к горизонту, удаляясь от берега.

А катер идет к берегу прямым курсом.

Проходит минут десять — и мы на месте. Ползет со скрипом тяжелая цепь, застревает в иле якорь. Мы сходим на берег по деревянному трапу, разбиваем лагерь.

Отмели в этих местах многокилометровые. Родители отпускают купаться, не боясь, что потону.

Я иду по мелководью, пытаюсь найти местечко, где воды хотя бы по пояс... На горизонте появляется черная точка. Она медленно приближается и растет. Я валяюсь на ребристом песке под тонким слоем воды. Резко холодят тело подводные течения: это ледяные ключи впадают в Иссык-Куль.

Мама встречает меня на берегу, растирает махровым полотенцем. Точка вырастает в кляксу на голубом фоне. Теперь уже видно, что это дядя Савва. Он бредет в своем снаряжении по колено в воде. Когда дядя Савва выходит из озера и снимает маску, лицо у него сконфуженное.

Были и поездки в горы. Командированным, желающим устроить пикник, выделяли заводской автобус. Ржавую колымагу с королевскими почестями обслуживали четыре водителя: Саша — молдаванин, Коля — наполовину киргиз, наполовину китаец, Абдрасыл — чистокровный киргиз и Анатолий Иванович — единственный среди шоферов русский.

Как-то мы отправились посмотреть Джеты Огуз — красивейшую Долину Семи

Быков. Это семь гор из красного известняка. У местных существует красивая и кровавая легенда об их возникновении. И не одна. Когда выехали на степную дорогу, на обочине показались несколько старух с кутулями за спиной. Шофер Абдрасыл остановил автобус, открыл переднюю дверь и по-киргизски окликнул их.

Старухи ввалились в автобус. Резко запахло кислятиной. Одна престарелая женщина с лицом цвета растрескавшейся земли и слезящимися щелями вместо глаз встала возле нас с мамой. И я уступила ей место. Мама, рядом с которой старуха села, взглянула на меня с ужасом и всю оставшуюся дорогу не разговаривала.

Вдалеке показался кишлак. Пассажиры вышли, и я села на прежнее место. Мама отстраненно смотрела на дорогу. Я могла понять ее недовольство — но не могла не уступить место старому человеку. Меня так воспитали.

Устав от молчания, я заискивающе заговорила:

— Какая немая, вонючая эта бабка, киргизка...

Мама сделала страшные глаза и прошипела:

— Тихо... Шофер — киргиз...

Я перехватила открытый смеющийся взгляд Абдрасыла в водительском зеркальце, и мне стало стыдно. Я надеялась, что он не услышал...

Спустя год мы опять ехали в горы. Со мною были Лариска и Генка. Пожилой водитель уверенно вел машину по извилистой дороге, а я смотрела на его затылок, вспоминала о той бестактности и мучалась.

И тут Лариска воскликнула:

— Смотрите, киргизы идут!

Большая группа людей в национальных одеждах переходила дорогу. Двое мужчин катили арбу, на которой восседал древний старик в чалме. Он держал ягненка с перебинтованной передней ногой. Следом шествовали женщины постарше, подростки, старухи и малые дети. Все были в халатах, и кто в чалмах, кто в войлочных остроконечных шапках. Последней шла молодая маленькая женщина, тоже в причудливом головном уборе. Она несла на руках младенца, а за спиной — тюк с вещами... Все засмотрелись, и никто не обратил внимания на слова Лариски. Кроме меня.

— Ты что сказала? «Киргизы идут»? — напустилась я на Лариску.

— А что такое? — Удивилась Лариска.

— И тебе не стыдно?

— Чего-о? — Лариска посмотрела на меня как на чокнутую.

И тут я ей «выдала».

— Киргизы что, по-твоему, не люди? Ты считаешь русских лучше киргизов?

— Почему — не люди? Это такие... киргизские люди, — пожала плечами Лариска. — И вообще. Чо пристала?

— Киргизы могут быть очень хорошими людьми, — убежденно произнесла я.

— Даже чукча может быть хорошим человеком, — возразила Лариса.

— Что значит — «даже чукча»? — завопила я.

Послышались смешки. Тут и мама принялась меня урезонивать:

— Таня! Только невоспитанные люди делают замечания другим. Занимайся собственным совершенствованием!

— Я, может, и невоспитанный человек, но я интернационалист! — разорвалась я. — В детском саду у нас кроваток было мало, и меня укладывали спать с киргизушкой Аидой!

— Купи себе медаль, — раздраженно посоветовала Лариска. — Гордись до старости!.. А это не с той Аидой, которая до второго класса писалась?

Тут уж все захохотали. И мама смеялась вместе со всеми! Но громче всех ржал шофер. Его раскатистое «го-го-го» выделялось в общем веселом шуме. А Лариска, наклонившись вперед, прошипела:

— Давай, гони! В чем дело?

— Шофер — киргиз, — шепотом, оправдываясь, проговорила я.

— Кто киргиз? — воскликнула Лариска. И — сколь я ни делала умоляющие жесты — повернувшись к водительской кабине, она громогласно спросила:

— Анатолий Иванович, вы — киргиз??

Шофер взвыл, потрясая руками. Хохотал весь автобус. Генка ржал, как молодой жеребенок. Виталик просто тихо трясся от смеха — так он обычно смеялся, когда смотрел вместе со мной «Ну, погоди».

— Да, я — киргиз, — согласился Анатолий Иванович, отсмеявшись. — А еще — француз... Мне вон что жена купила: натуральная болонья, — и он ткнул себя в грудь, обтянутую курткой-ветровкой.

Я со стыдом вспоминала о том конфузе. Ведь Анатолий Иванович с Абрасылом совсем не были похожи, а я их спутала... Вопила: «киргизы ничуть не хуже»... А для самой не то что киргизы — все *шоферы* оказались на одно лицо!

В начале лета мне сообщили, что скоро к нам придет *новая бабушка* Зинаида Львовна, мама Виталика. Она будет за мной «присматривать».

Присматривать — интересно, как? Зинаида Львовна будет скакать за мной по Свалке? Ползать по канавам, забираться на деревья, лазать по горам?

Моя *новая бабушка* приехала почти одновременно с Яреком. Это была суховатая, но дружелюбная пожилая женщина. Строгая, требовательная и ровная, она никогда не повышала голоса, и тем отличалась от моей родной бабули, которой я «садилась на шею», когда меня привозили в Майкоп. То ли дело Зинаида Львовна со спокойным, гипнотическим, совсем не старушечьим взглядом. С синими, как у Виталика, глазами. С ней не разбалуешься!

Однажды Зинаида Львовна попросила:

— Пожалуйста, Таня, зови меня бабушкой.

А я растерялась. Я ведь так и не сумела назвать Виталика «папой»...

И Зинаида Львовна осталась Зинаидой Львовной.

...Те короткие секунды, которые мы с Яреком бежали навстречу друг другу...

Налетели, столкнулись, обнялись, замерли...

Проходившая мимо тетя Маша усмехнулась.

— Ты мне не писал, — укорила я. — Изменник!

— Таня, не ругайся, — отозвался Ярек миролюбиво. — Давай лучше обсудим, сколько у нас будет детей.

И примирительно потерся носом о мое голое плечо с облезавшей кожей.

...*Новая бабушка*, заселенная в бывшую комнату Генриетты, по утрам кормила меня овсяной кашей.

— Все съедай, — повторяла она скрипучим голосом. — Пока не доешь, из-за стола не выпущу!

...Вырвавшись на свободу, я мчалась к Яреку, и мы отправлялись на пирс. Там валялась старая дырявая лодка. Мы подложили под нее деревянные чурки, чтобы не было крена. Генка и Тишка соорудили мачту — кривоватую, но устойчивую, нацепили на нее парус из куска черного крепа, который Лариска утащила у бабушки. Витька намалевал на тряпке белилами оскаленный череп, почему-то подмигивающий, и две скрещенных кости.

Мы с Яреком сидели рядом на «банке», и он обнимал меня за плечи.

— Вырастем, «Яву» тебе куплю, — сулил мне «жених». — Нет, лучше «Ниву»...

В субботу мама, Виталик и Зинаида Львовна уехали в Пржевальск, в театр. Отъезд родителей — всегда радость. Напрягало то, что меня они заперли на ключ. Тут примчались Витька, Генка и Лариска и принялись дубасить в дверь.

— Таня, выходи, — позвал Витька.

— Не могу. Меня заперли, — отозвалась я.

— А мы строим балаган, — похвастался Генка.

— Без меня? Все, я с вами не разговариваю...

— Ладно, не злись, — примирительно произнес Витька. — Мы что-нибудь придумаем.

И — «придумали!» Вскоре я услышала странный шкрябающий звук.

— Эй! Вы что там делаете? — испугалась я.

— Дверь открываем, — бодро сообщила Лариска. — Мы ключ нашли. Он в замочную скважину пролез...

Пролезть-то пролез, да ни в какую не хотел проворачиваться.

Я занервничала:

— Ребята, может, не надо? Лучше дома посижу...

— Что, струсил? — съехидничал Генка.

— Ты не бойся, — нежно проворковала Лариска. — Часик поиграем, а потом мы тебя обратно запрем.

Вдруг что-то крякнуло — и воцарилась зловещая тишина. Потом они одновременно что-то забубнили, я разобрала страшный шепот:

— Блин, ключ сломался...

— В чем дело? — Вскрикнула я.

— Так, заело... Все в порядке, — бодро отозвался Витька. — Мы тебя сейчас вытащим.

— Знаешь, что я придумала, — подала голос Лариска. — Иди в бывшую Тишкину комнату. Открывай окно и вылезай на козырек подъезда. А мы откроем окно на лестнице, и ты через него выберешься!

Я залезла на подоконник, открыла окно. Всего лишь второй этаж... Прикинула расстояние от окна до козырька подъезда. Нужно прыгнуть или сделать широкий шаг... Но мои ноги стали ватными.

В полутора метрах от меня Витька возился с задвижкой лестничного окна. Шпингалет, покрытый несколькими слоями краски, не поддавался даже после того, как Витька принес из чулана молоток.

— ...Не получается, — крикнул Витька снизу. Рядом с ним маячили Лариска и Генка. Вдруг их всех словно ветром сдуло: во двор вошли мама, Виталик и Зинаида Львовна.

Я захлопнула окно, выскочила из комнаты Зинаиды Львовны и аккуратно прикрыла за собой дверь. Стукнула дверь вниз. Я прокралась в прихожую и прислушалась...

— Я видела Таню в окне своей комнаты. Что она делала в моей комнате? — Скрипуче повторяла Зинаида Львовна.

— Ключ не вставляется... А-а! Что тут такое в замке? — Напряженный голос Виталика.

— Таня! Что произошло? — это мама.

— Не знаю, — трусливо соврала я. — Я вообще сплю...

— Нет, ты не спишь. У тебя свет горит.

— Мне было страшно, и я заснула при свете, — захныкала я.

А мама вдруг закричала:

— В замке обломок ключа! К ребенку пытались влезть воры!

— Не думаю... не похоже, — рассеянно произнес Виталик.

Зинаида Львовна забормотала:

— Ой, не могу... Где валидол...

— Таня, кто ковырялся в нашем замке? — строго спросил Виталик.

— Генка, Витька и Лариска! — Выдала я всех с потрохами. — Они замок открывали! Но я их не просила...

— Надо идти за слесарем, — подвел итог Виталик. — Будем вырезать замок.

К ночи дверь была открыта. Взрослые вошли в квартиру. Мне они ничего не сказали, даже не посмотрели в мою сторону. Зинаида Львовна, поджав губы, сразу же ушла к себе.

Весь следующий день я сидела дома. Посреди двора, примостившись к судейской вышке, красовался балаган, отстроенный моими друзьями. Он был лучше прежних. На крыше лежал настоящий шифер, раздобытый мальчишками на стройке.

В обед пришли с извинениями тетя Валя и Витькина бабушка. В том, что мои друзья выпороты, можно было даже не сомневаться. Позже появились и заплаканная Лариска со своей бабушкой.

— Простите, пожалуйста, я больше так не буду, — сразу затараторила Лариска. — Я не хотела! Это все ваша Таня. Она так просила...

— Что ты врешь! — возмущенно закричала я.

— Ее глаза так жалобно просили, — поправилась Лариска.

— Ты за дверью была. Где ты мои глаза видела?!

Лариска набычилась, тайком показала мне кулак и удалилась вместе с бабушкой.

Вечером во двор прибежал Ярек. Он долго кричал под окнами, вызывая меня, пока ему не объяснили, что я наказана и не выйду. Ярек печально ушел.

Наутро из-под входной двери выглядывал клочок бумаги. Я его вытащила — это было ультимативное послание. Кривые и корявые буквы извещали:

Тибe байкот. Мы думали, што ты друк, а ты аказывается ПИСЬКА.

Это было страшное ругательство. Так у нас обзывали фашистов, живодеров, ябед — самых плохих людей на свете.

Я проревела весь день. Друзья больше не предпринимали попыток выйти со мной на связь — ни для того, чтобы помириться, ни для передачи нового ультиматума. «Никто к мордовке не идет», — с грустью вспоминала я нянину поговорку.

Посматривала в окно, где друзья, уже свободные (преимущество порки перед более «гуманными» наказаниями), играют в штурм крепости. Вместе со всеми резвился мой жених. Вот кто настоящий предатель!

Еще через день меня выпустили. Прошел дождь, и левая стена балагана обрушилась. Крыша уже исчезла, поэтому вся утварь, принесенная друзьями из дома и валявшаяся внутри, была грязной и мокрой. Во двор пришла Лариска, чтобы забрать из развалин бабушкины вещи: циновку и миску.

Не успели мы выяснить отношения, как воинственным индюком налетел комендант и потребовал немедленно «убрать мусор». Мы с Лариской, все еще злые, разбирали шалаш, таскали на помойку доски, фанеру, картон. Вскоре к нам присоединились Витька с Генкой. Витька пожаловался, что их таскали к участковому. Туда же вызвали прораба со стройки, на которой мальчишки позаимствовали шифер, и заставили его писать объяснения. А Витьку с Генкой отпустили, припугнув.

Ярек тоже явился. Покрутился, создавая видимость помощи. Он был так явно рад мне, что и я перестала дуться. Я ведь тоже соскучилась по нему — по всем!

— Ты-то как? Отлупили? — хмуро поинтересовался у меня Витька.

Пришлось соврать: а то!

— Поделом. Я бы добавил, — вздохнул Витька. — Ну ладно... живи.

13. Опаленные и разлученные

Мы продирались через высокую траву. До кровавых царапин исхлестаны были ноги, локти, плечи... даже лица. Позади еще пламенело небо, расширяясь, ползла черная дымовая завеса и был слышен негромкий, но страшный треск. Это горела сухая трава. И не только трава...

Мы надрывно кашляли: глотки забито чем-то плотным, вязким, вонючим... То невесомая сажа оседала на наших легких. Слева от меня бежала Лариска. Щека ее была черной от сажи-пыльцы, от которой нам теперь вовек не отмыться.

Лариска вдруг остановилась, схватила меня за руку.

— Я босоножку потеряла, — пробормотала она.

— Где? Там?

— Нет, только что соскочила...

Затем мы ползали в траве и искали... Запах гари сделался невыносимым. Лариска облокотилась о мое плечо, надевая испачканную босоножку.

— Ремешок оторвала где-то, — проворчала она.

Наконец, кое-как обувшись (оборванный ремешок болтался, босоножка почти сваливалась с худой ноги), Лариска выпрямилась и спокойно произнесла:

— Главное — нас там не было.

— Конечно. Нас там не было, — откликнулась я эхом.

Но они... Какие дурни эти мальчишки. Что с ними теперь?

А мы? Что мы с Лариской сделали для предотвращения поджога? Ничего. Мы просто бросили их и убежали...

Помню, поджигать собирались сухую траву. Как огонь перекинулся на ялы?.. Теперь там суетились чужие люди. Одни таскали воду ведрами, другие уносили потерявшего сознание Тишку, наглотавшегося дыма. Генку тащили куда-то взрослые парни, выворачивая ему руки, будто он опасный преступник. Ярек что-то долго говорил, и его слушали хмурые взрослые. А Витька сопел, размазывая по лицу золу, а потом заплакал... Примчались две пожарные машины и одна машина с красным крестом. На ней увезли Тишку. Тетя Генриетта, причитая, забралась в салон вместе с носилками. Приехал участковый на мотоцикле, а потом — «уазик» с милиционерами. Тетя Валя бегала по берегу, раскинув руки и натываясь на людей, как слепая. А тетя Инга спокойно стояла рядом с участковым. И над этим всем дрожали рыжие колеблющиеся тени — то взмывали к черному выжженному небу Дети Огня...

Нас с Лариской вызвали к следователю. Как свидетелей. Со мной ходили мама и Виталик. Мы твердили, что ничего не знаем, ничего не видели. И вообще не имеем понятия, кто принес спички на берег, и ушли домой до того, как начался пожар.

Позже Генка описал свои впечатления от поджога — когда пошел в школу и научился писать. Это было его сочинение на тему «Как я однажды провел выходные». Генкину работу зачитывали даже в старших классах — и в моем классе тоже — как пример сочинения отпетого хулигана, притом безграмотного невежды. Это были — слово в слово — его показания, данные следователю:

«Мы с Тишкой жгли спички и кидали ф траву а кода зогорелись ялы мы спугалис и тушили агонь стоканчиками с пад морожинава».

Почему Генка написал, что ялы сожгли они с Тишкой?

— ...Тебе ничего не будет, — кричал Ярек Генке. — Ты — мелкий! Тебя допросят и отпустят, понял? А нас посадят в тюрьму! Ты представляешь, — поворачивался он к Витьке, — что будет с твоей бабушкой, если тебя посадят? У нее же сердце слабое! Она блокаду пережила!

Витька слушал и вздрагивал. Генка же и вовсе казался безучастным.

Тишка лежал в больнице. Когда его выписали, отправили в санаторий.

— Тихон — больной ребенок, — голосила тетя Генриетта. — Он на поджоги не способен! Он только рядом стоял! А если и поджигал, то его заставил вот этот, — она с ненавистью дернула головой в сторону Генки. — Вечно имущество портит, ребят третирует. У-у, еще лыбится, шантрапа!

Генка, действительно, жалко улыбался, втянув голову в плечи. Тетя Валя молча стояла рядом с ним.

Вся вина за поджог легла на семилетнего Генку.

Еще не закончилось лето, а компания наша развалилась.

Тишку мы видели всего пару раз. После того санатория его увезли в Пржевальск. Там через год Тишка пошел в школу.

Лариска перестала приходить в наш двор: бабушка запретила. Правда, с началом учебного года дружба возобновилась, но виделись мы только в школе. Витька к нам ходить не перестал. Ведь его бабушка продолжала работать в ДК.

Ярек уехал. На прощание подарил мне марку — белый мятый прямоугольник с корабликом — и обещал писать.

Я знала, что Ярек писать мне не будет. За всю жизнь я получила от него единственное письмо. Оно было таким корявым, что я не смогла его прочесть. С трудом разобрала первую строчку: «Милая премилая Таня, я сочинил стих». Все прочее, включая сам «стих», потонуло в каракулях, сквозь которые невозможно продраться...

Утро началось мрачно. За стенкой мама говорила Виталику:

— Я Ингу провожать не стала. Выгородила сына... Молодец! А Вальке как жить? Выплачивать ущерб лет двадцать?

— Валентине надо найти хорошего адвоката, — отвечал Виталик. — Подумаем, к кому можно обратиться...

— ...Этот Ярек, — чувствовалось, что мама злится. — Хорошо, что они уезжают! Не хочу, чтобы Танька с ним общалась.

— Они, кажется, очень дружны, — возразил Виталик.

А дальше взрослые понизили голос, и я уже ничего не могла разобрать. Потом скрипнула дверь, мама заглянула ко мне в комнату и проговорила:

— Таня, вставай — Ярек пришел прощаться!

Я, конечно, понимала, что мама меня дразнит. Ярек вчера говорил, что уже ночью будет «в воздухе». Но меня выбросило из кровати. Я стояла в пижаме и босиком, с надеждой глядя на дверь: может, и правда, каким-то чудом там — Ярек?

— Ага-а, не спишь! — лукаво рассмеялась мама. — Выползай завтракать, а то все съедим!

И погрозив мне пальцем, скрылась за дверью.

Тетя Валя заходила к нам, они сидели с мамой на кухне, говорили про адвоката. Тетя Валя похудела, подсохла, между бровей у нее появилась складка. Генка тоже изменился, и не только потому, что в сентябре пошел в первый класс. Впервые стало заметно, что сын похож на мать: отчуждение — от окружающих — роднило их. Они превратились в людей, которые тянут свой груз покорно и с достоинством, и, разделяя тяжесть, сближаются не как родные, но как бурлаки в одной упряжке. И до целого мира им уже нету дела.

На День пионерии третьеклассников принимали в пионеры. В сельпо завезли партию сатиновых галстуков. Пионервожатая Раиса раздала нам листочки с текстом клятвы.

Но мы с Витькой и Лариской давно были на заметке у директора, а после поджога, в котором засветились, оказались и на особом контроле.

— Вас будем *с позором* принимать в пионеры в четвертом классе, — заявила директриса.

Мы маялись в ее кабинете. Витькино конопатое лицо было подцвечено синяком, происхождение которого совершенно не интересовало директрису.

Берта Гюнтеровна, директор школы, была миниатюрная сморщенная этническая немка. Не то чтобы злая, но жесткая, она любила, чтобы дети «ходили по струнке». За пять лет, которые я проучилась в ее школе, она ни разу не улыбнулась. Фингалы, рогатки, растрепанные косы, кляксы в тетради — все это вызывало у директрисы тоску, брезгливость и, возможно, диарею.

— Надо выполнить план, — бубнил мужчина в сером костюме, приехавший «из района» специально ради нас. — Как это так — в четвертом классе...

— Аха, чего вы хотите, Берта Гундыровна, — поддержала его старшая пионервожатая Раиса, серая баба, которой не хватало образования на то, чтобы получить работу в школе рангом повыше (идти уборщицей она отказалась). — Чоб Лиянид Ильич в кхробу перевернулся?

— Рая, не кощунствуйте, — вспыхнула директриса. И повернулась к нам: — Ладно, учите клятву. И не паясничать!

И вот мы стоим в строю, держа свои галстуки в вытянутых руках. Прохладно, кулачки свело, но никто даже не шелохнется. Скосив глаза, вижу торжественную бледную мордочку Лариски. Витька стоит рядом, и я слышу, как он сопит.

К строю подходят пионеры, которые сейчас повяжут нам галстуки.

— Я, Каткова Таня...

— Я, Коровина Лариса...

— Я, Шлепак Виктор...

— ...Перед лицом своих товарищей, — вразнобой загундели мы, — торжественно обещаю! Жить, учиться и бороться! Как завещал великий Ленин! Как учит коммунистическая партия Советского Союза!

Малознакомая взрослая девочка с улыбкой забирает галстук, и я чувствую, как чужая рука холодит мою шею. Девочка наклоняется, и ее волосы щекочут мне щеку, пока она возится с пионерским узлом.

...Я опять тушила пожар. Забывала пламя палкой, поливала водой. И вдруг оказалось, что галстук на моей шее — огненный!.. И вот уже я вся в огне. Кричу, зову Витьку с Лариской. Но криков не слышно. Я не издаю ни звука. Не могу даже сделать вдох: рот забит чем-то плотным и вязким...

Проснувшись, вспомнила, что уже видела этот сон. Полежала немного, глядя в неплотно зашторенное окно. Такого чистого, красивого неба, сплошь в звездах, я никогда не видела. Оно было так близко, небо.

Мы готовились к отъезду в Ленинград. Мама уже месяц была там — что-то улаживала, а мы с Виталиком хозяйничали вдвоем. Виталик проверял у меня уроки, мы вместе разучивали фортепианные пьесы, и даже свои первые стихи я показывала ему.

— Это замечательно, — радовался Виталик. — Нет, над стихами, конечно, надо еще поработать... Но здорово, что ты в принципе... интересуешься.

Не показала я Виталику только письмо, которое отправила Яреку за две недели до маминого приезда.

«Здравствуй, Ярек. Как твои дела? У нас все хорошо. Про поджог все давно забыли. Генке наняли хорошего адвоката, и тот его оправдал! Хозяева ялов сами

виноваты: должны были держать их в специальных ангарах. Тетя Валя ходит радостная и, может быть, к Новому году выйдет замуж.

Я собираю марки, как ты хотел, и уже собрала сто корабликов, а также животных и великих людей. Учусь я на отлично, а по поведению вытянула на твердую «удовлетворительно».

Эти два стихотворения посвящаются тебе. Не смейся над ними, пожалуйста. В следующем письме у меня получится лучше.

Ярек, скоро я приеду в Ленинград. Ждешь ли ты меня? Помнишь, мы загадывали, сколько у нас будет детей и какая машина?

С приветом. Любящая тебя Таня.»

Когда Виталик привез маму из аэропорта, она выглядела какой-то взвинченной.

— Что ты глупости мальчишкам пишешь, — почти с порога накинулась она на меня.

И потрясла перед моим лицом измятым конвертом. Это было мое письмо, которое ей передала тетя Инга.

— погоди, — урезонивал ее Виталик. — Отдохни, поешь... и поговорим.

— Куда годить, — воскликнула мама, — если в институте над нами смеются! Ну и дочь, говорят, у тебя. Поэт!

Виталик помрачнел и велел мне пройти в свою комнату.

— ...Люблю, пишет, и жду! — возмущалась мама. — Спрашивает, сколько у них будет детей! И кому наша дочь такое пишет? Этому невроту и ябеду! Конечно, он над ней посмеялся. И Инге сам письмо отдал...

— Ну, все, — тихо и зловеще проговорил Виталик. — Не было никакого письма... А Ингу... еще раз встречу... так и передай...

...Я хлопнула дверью так, что штукатурка посыпалась. Подбежала к тумбочке, выволокла тяжелый альбом для марок в бархатной обложке. Листала его так резко, что некоторые страницы, хоть и были из толстого картона, надорвались у корешка. Нашла *ту марку* — подарок Ярека. Выдернула из кармашка, скомкала, изорвала на мелкие-премелкие кусочки. Когда взрослые отвлеклись, разбирая мамины вещи, я пробралась в туалет и бросила клочки в воду.

14. Возвращение через тридцать лет

Мы сидим на гараже и плюем вниз. Нам с Лариской и Витькой — двенадцать, Генке — десять. В жизни многое поменялось: дети во дворе, педагоги в школе. Пожар потихоньку забылся, как забывается все.

Сидим и болтаем ногами. Это наша последняя прогулка. Сегодня я уезжаю насовсем.

— ...Светка едет в заводской пионерлагерь, — рассказывает Генка. — И мне мама тоже купит одну смену. Со скидкой...

Все знают, что Генка влюблен в свою одноклассницу Светку Алупкину.

— ...Проси две смены, — советует Витька. — На вторую смену, бабушка обещала, я тоже в лагерь приеду...

— И я, — тоненько вторит Лариска.

— Ну, мы им там устоим, — радуется Генка...

Ковыряю дерево, отдираю похожий на слезку прозрачный комок смолы, отправляю в рот.

— Подождите, я сейчас, — спохватывается Витька. — Не уходи, Танька!

Он ловко спускается по стволу дуба, примыкающего к гаражу, прыгивает на землю и убегает.

— Меня мама обедать зовет, — говорит Генка. — Я еще приду, — и тоже уходит.

Мы с Лариской остаемся вдвоем. Нас, что называется, «раскатывает». Сидим, осознав приближение разлуки. Она, как скорый поезд, уже мчится к нам, горестно сидящим на рельсах... Обнимаемся, тычемся лбами, в последний раз смотрим друг другу в глаза. Если долго не мигать, кажется, что у Лариски, как у циклопа, во лбу — один большой янтарный глаз, из которого с двух сторон бегут мокрые дорожки... А носик Ларискин, вечно вздернутый, похож на широкий рубильник.

— Господи, какая ты, — первой отшатывается от меня Лариска. — Уродище!

— От уродища слышу! — кричу я.

Мы хохочем и обнимаемся. Потом затихаем...

Спускаемся вниз по стволу. Лариска прощается, обещает «писать до смерти» и уходит домой. Во двор вбегает Витька. Он бережно держит что-то маленькое, серенькое, пушистое. Это игрушечный заяц с длинными ушками, вытарашенными глазами и тряпичной морковью в лапах.

— Вот, — запыхавшийся Витька протягивает мне зайца, — на вечную память...

Я прижимаю к груди подарок... Откуда? Все знают, что лишних денег у Витькиной бабушки не водится...

— Это не бабушка покупала, я сам заработал, — говорит Витька. И поясняет: — Выиграл в лотерею...

Меня уже зовут: приехал автобус, который отвезет нас в Пржевальск, в аэропорт. Мы прощаемся с Витькой — так, словно встретимся завтра, — и расходимся.

Во дворе стоит огромный, размером с дом, ящик — «контейнер». В него уместились все вещи: пианино, коробки с книгами, посудой и одеждой. Мебели мы не нажили. Сажусь в автобус. В последний раз оборачиваюсь на старый деревянный дом — лучшую на свете конуру.

— Иди сюда, моя киргизочка, — это тетя Маша, она лезет в автобус, обнимает меня и плачет, вытирая слезы концом платочка. — Как же мы без вас...

Булька комком свернулась у меня в ногах, рычит на всякого, кто пытается вывести ее из автобуса. Но ее все-таки выпроваживают, двери закрываются, мы едем. А они остаются у подъезда. Смешная вислоухая собака и нестарая деревенская женщина с опухшим от слез лицом. Мои родные.

Плачу до самого аэропорта. А потом словно застываю...

Такой, окаменевшей, я и приземляюсь в ленинградском аэропорту, и захожу в большую квартиру, где меня встречает и целует в щеку Зинаида Львовна. Мама и Виталик, усталые, но счастливые распаковывают вещи...

За окном — вид: трубы с клубами дыма, шоссе, два-три голых дерева... Чем это лучше моей Свалки? По тротуару носятся мальчишки, двое пытаются поймать третьего. Чем они лучше моих друзей? Ничем. Здесь все — хуже, потому что чужое.

Генкин голос в телефонной трубке то отдаляется и дробится, то вдруг становится таким отчетливо-близким, как будто он рядом, говорит мне в самое ухо.

— Ты правда ничего не помнишь? — удивляется он.

— Расскажи мне все, что помнишь ты, — прошу я.

— ...Ну что, сдрейфили? — звонко крикнула Лариска.

Она схватила коробок, извлекла две спички и чиркнула. Маленькое пламя дружелюбно зашипело, и Лариска, ойкнув, отдернула руку.

Коробок пошел по кругу. Уже через несколько секунд за борт лодки метнулось сразу несколько трескучих птичек-огоньков.

Я тоже зажгла несколько спичек. Огонь пыхнул, ожег мне руку — у меня с тех пор бугорок на ладони — и опалил челку.

Пальцы разжались.

Я, конечно, уже никогда не восстановлю деталей. Могу только вообразить, как метались огненные языки, жадно облизывая доски, и как мы их затаптывали. Даже я. Даже Лариска, у которой пережгло ремешок на сандалете. И даже Тишка, пока не наглотался черной копоти и не сомлел.

А когда слышались крики и, будто в кошмаре, вдали показались крошечные фигурки, похожие на бегущих фашистов в черно-белом кино, Витька повернулся к нам с Лариской и заорал:

— Девки, дгапайте! Вас тут не было! Поняли?

И мы убежали. Густая дымовая завеса прикрыла нас и спасла от преследования.

Вот, казалось бы, и все — а что-то изменилось. Я пока не пойму, что именно.

Но до сих пор во сне я возвращаюсь в мое полузабытое нищее, хотя и самое счастливое детство. И тогда воскресает поселок — такой, какого уже нет. Колышутся на раскаленном асфальте тени от языков пламени. Задиристо тявкает Булька. Грохочет, живет в своем ритме Свалка. Клубится дым над побережьем, падает крупными шматами пепел — как снег, только почему-то черный...

— ...Знаешь, — помолчав, проговорил Генка, — где я похоронил Бульку, когда ее отравил Герцог? Там, где балаган ставили. Помнишь, я еще туда подбросил дохлого мыша?

— Там же была волейбольная площадка. И вдруг — захоронение?

— Площадку убрали. Командировки закончились, некому стало играть в волейбол. На этом месте сделали палисадник.

Помолчали, вспоминая.

Кабинет заливало солнце. Два «зайчика», запущенные каким-то душевно больным из корпуса напротив, бродили по стене, сливались и снова разделялись. Иногда один из них пробегал по моему лицу, и я шурилась. А они, дразнясь, блуждали, перепрыгивая со стола на полку, с полки на подоконник.

Наигравшись, «зайчики» ускользнули в открытое окно.

*Санкт-Петербург,
май, 2019*